



Буря – пловец – челн – парус в русской поэтической традиции

А.М. БЕЛОЩИН

*Уж в пристани волшебный
ожил челн...*

Ф.М. Тютчев

Традиционно изображение бури на море в поэтическом языке служит символом превратностей человеческой жизни, как, например, в стихотворении Ф.Н. Глинки “Утро вечера мудренее”:

Сегодня вихрь парус рвет;
И вал на отмель лодку бьет;
И гром над безднами ревет;
И молния пловцу в глазах ресницы жжет...
А завтра – ни грозы, ни бури:
Погода... мир... и тишина,
Под круглым куполом небесныя лазури
Светлеет моря глубина...
Для нашей жизни нет картины сей вернее...

(Цит. по: Русские поэты. Антология. М. 1991. Т. II. С. 26; далее – Антология).

Эта тема волновала и К.Н. Батюшкова (например, стихотворение “Любовь в челноке”). Несмотря на жизненные бури, не следует унывать:

С отвагой на челе и с пламенем в крови
Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна.
О юных плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна!
Верьйся челноку! Плыви!

Характерную для маринистической темы метафору *пучина жизни* развивает И.И. Козлов, лирический герой которого пытается противостоять ударам судьбы: “Пою, и как будто отраднее мне, Я горе мое забываю, Как ветер ни гонит мой бедный челнок Пучиною жизни мятежной” (Антология. С. 368).

А.И. Полежаев, известный своей “Песнью погибающего пловца”, придает этим метафорам и сравнениям (*море бед; одинок, как челнок*) напряженное эмоциональное звучание:

С юных лет
В море бед
Я направил
Быстрый бег
И оставил
Мирный берег!
<...>
Бесприютный
Странник в мире,
Одинок,
Как челнок...

Герой Полежаева изображается попавшим в бурю:

Море стонет –
Путь далек...
Тонет, тонет
Мой челнок!

Мотив скитальчества и одиночества пловца, застигнутого бурей, возникает и у В.Г. Бенедиктова: “Бездомный скиталец – пустынный певец, – Один, с непогодой в споре, Он реет над бездной, певучий пловец, безъякорный в жизненном море” (Антология. С. 462).

Состояние пловца *после бури* изображает А. Фет в одноименном стихотворении “После бури”:

Пронеслась гроза седая,
Разлетевшись по лазури,
Только дышит зыбь морская,
Не опомнится от бури.
Спит, кидаясь, челн убогой,
Как больной от страшной мысли,
Лишь забытые тревогой
Складки паруса обвисли.

Наиболее эмоционально выразительными являются те стихотворения, в которых описывается состояние пловца *перед бурей*. Так, лермонтовский лирический герой ищет бури сознательно: “Что без страданий жизнь поэта и что без бури океан”. Словно вторит ему В.Ф. Ходасевич в стихотворении “Играю в карты, пью вино...”: “Ведь знаю: сердце все равно Летит в излюбленную бурю. Лети, кораблик мой, лети, Кренясь и не ища спасенья, Его и нет на том пути, Куда уносит вдохновенье”.

Но у него же пресыщенный и разочарованный герой скучает “под бурей”:

Весь день на палубе лежал (...)
Качало. Было всё немило:
И ветер, и небес простор (...)
Под вечер буря налетела.
О, как скучал под бурей он,
Когда гремело и свистело,
И застилало небосклон!

У Лермонтова мы наблюдаем ярко выраженный метонимический прием: *парус* обозначает не столько “холст из ткани, растягиваемый на водоходных судах, для движения их ветром”, согласно определению в Словаре В.И. Даля, сколько олицетворяет самого *пловца*, вернее, страстную человеческую натуру поэта: “А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой”. Лермонтовский *парус* жаждет соединить несоединимое – покой и бурю.

Стихотворение проникнуто ощущением простора, динамизма. Пространство *над* и *под* парусом пронизано светом: “Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой”. Бури еще нет, но во всем ощущается ее приближение: “Играют волны, ветер свищет, И мачта гнется и скрипит.”

Но если лермонтовский *парус* “обняться с бурей был бы рад”, говоря словами Мцыри, то “Пловец” Н.М. Языкова готовится противостоять ее приходу, сразиться с ней.

Приведем это стихотворение полностью, чтобы читатель мог ощутить его энергию, увидеть его “архитектонику”:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено.

Смело, братья! Ветром полный
Парус мой направил я:
Полетит на скользки волны
Быстрокрылая ладья!

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней, –
Будет буря: мы поспорим
И помужествуем с ней.

Смело, братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет.

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный,
Прям и крепок парус мой.

Атмосферу неминуемой грозы усиливают глаголы в форме будущего времени (*грянет, закипит, поспорим, помужествуем*).

В тексте легко просматривается вертикаль (“Выше вал сердитый встанет, Глубже бездна упадет”) и горизонталь – устремленность вперед, *туда*: “Но туда выносят волны только сильного душой”. Именно такое значение в этом контексте приобретает последняя строка: “Прям и крепок парус мой”. Парус становится символом стойкости человеческого духа.

Явному гражданственному пафосу этого стихотворения, бывшего любимой песней революционно настроенной молодежи, способствует троекратное побудительное обращение: “Смело, братья!”.

Местоимение *мы* также говорит о том, что пловец Языкова не одинок, как не был одинок вначале и пушкинский пловец – *таинственный певец*: “Нас было много на челне...”.

Под несомненным влиянием этого стихотворения написаны “Пловцы” А.Н. Апухтина, однако, будучи прямо названными, гражданствен-

ные мотивы ослабили своей дидактичностью эмоциональное звучание стиха:

Друзья, неведомым путем
На бой с невежеством, со злом
И с торжествующею ленью
Мы плыли. Ночь была темна,
За тучи пряталась луна,
Гроза ревела в отдаленье.

И мы внимали ей вдали,
Дружнее прежнего гребли;
Уж берег виделся в тумане...
Но вихорь смял наш бедный челн,
И он помчался между волн,
Как падший витязь, жажда брани...
(...)

И снова нас зовет на бой
Стремленье к истине свободной.
Так что ж! Пускай опять, друзья,
Помчит нас по морю ладья,
Горя отвагой благородной!

Ослабляет энергетику стиха и отсутствие образа паруса, который концентрировал ее в себе в заключительной строке стихотворения Языкова.

Вдохновленный удачей своего “Пловца”, Языков возвращается к этому образу опять: через два года он пишет еще одно стихотворение с таким же названием, где изображение бурного моря на этот раз доминирует и завершается умиротворяющей картиной: “Пронесися, мрак ненастный! Воссияй, лазурный свод!.. Смолкнут бездны громогласны, Их волнение падет!”.

В 1839 г. Языков создает третье стихотворение “Пловец”, в котором он прославляет не бесстрашие мужественного борца, сильного духом, а того, кто успел доплыть до желанного берега еще “до бури вод”: “Хвала ему! Он отплыл рано: когда дремали небеса”. Как справедливо замечают исследователи, “идея этого стихотворения обусловила и вялость поэтического словаря, интонации, ритма. Здесь нет той стремительности стихотворного темпа, которой так славилась поэзия Языкова в пору расцвета его таланта” (История русской поэзии. Л., 1968. Т. 1. С. 341).

В жанровых маринистических сценах, где изображаются пловец, парус, челн, они зачастую оказываются взаимозаменяемы, тесно слиты по принципу метонимии. Так, под понятием *парус* подразумевается и челн, и сам пловец в нем, а под понятием *челн* – и парус, и пловец.

Об этой взаимозаменяемости говорят и эпитеты, например, *убогий* мы встречаем у Фета (“челн убогой”), у Ю.В. Жадовской: “Много лет ладью мою носило (...) Наконец ко пристани бесплодной Принесло убогую ладью...” (Русская элегия. Л., 1991. С. 432). У Языкова ладья *быстрокрылая*, у Алухтина ладья мчит, “горя отвагой благородной”. Ладья – синоним челна. Но челн может быть и *грузный*, *бедный* (у Пушкина), *таинственный*, *волишебный*, *разбитый* (у Тютчева), *утлый* (у Полежаева). Челн, как и парус, *одинокий*, но если парус всегда *белый* (только у Мандельштама *черный парус* – вестник смерти), то челн *черный* (“чуждый чарам *черный челн*”, “челн томления” Бальмонта).

Парус – наиболее емкий и выразительный образ в этом тематическом ряду. Он олицетворяется, одушевляется. Парус может быть дерзостным (у Кюхельбекера), *дерзким* и *смирненным* (у Пушкина), *мятежным* (у Лермонтова), *горестным* (у Бунина). Но всегда парус *одинокий*. Это символ человеческой бесприютности, незащитности перед стихией жизни, но и символ нестигаемости человеческого духа.

Поэты продолжали обращаться к этому образу и в XX веке, наполняя его новым содержанием, как, например, в стихотворении И.А. Бунина “Порыжели холмы, зноем выжжены”:

Море все еще в блеске теряется,
Тонет в солнечной светлой пыли:
Что ж так горестно парус склоняется,
Белый парус в далекой дали?
Ты меня позабудешь вдали.

Отчаянным смятием проникнут возглас В. Высоцкого: “Парус! Порвали парус! Каюсь! Каюсь! Каюсь!..”

Но в первую очередь, парус – символ одиночества. О неслиянности двух одиночеств говорит стихотворение И. Анненского:

Два паруса лодки одной,
Одним и дыханьем мы полны.

Нам буря желанья слила.
Мы свиты безумными снами,
Но молча судьба между нами
Черту навсегда провела...

Интересно, что *паруса* наделены другим дополнительным значением: паруса всегда соотносятся с оппозицией свой/чужой: “В флибустьерском дальнем море Бригантина поднимает паруса” (П. Коган “Бригантина”).

Каждый поэт, обращавшийся к этим маринистическим образам, наполнял их философским, гражданственным, но всегда личностным

звучанием. Яркое доказательство тому – стихотворение Тютчева, в котором *челн* нагружен сложной символикой таинственного и подсознательного:

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь – и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.

То глас ее: он нудит нас и просит...
Уж в пристани волшебный ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, –
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.



РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ О ГОГОЛЕ*

В. А. ВОРОПАЕВ,
доктор филологических наук

Статья философа Семена Людвиговича Франка “Религиозное сознание Гоголя” впервые увидела свет на немецком языке (Hochland. 1934/1935. Bd. 1) и была переиздана не так давно (Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996). В ней автор предвосхитил некоторые идеи о характере религиозного мирозерцания великого писателя, высказанные впоследствии другими исследователями. В.В. Розанов, Д.М. Мережковский и В.Я. Брюсов, по мнению Франка, “первыми предложили правильное понимание характера Гоголя и его искусства”, то есть обнаружили в “реалисте” “мистически одаренный дух” и тем показали, что изображенная им “внешняя реальность” есть на самом деле “внутренняя тревога” и “мучительно-болезненные фантазии” писателя (С. 303–304).

“Выбранные места из переписки с друзьями” – “потрясающий документ глубокого подлинно русского трагического стремления”, но, как полагает автор статьи, возможно, осуждение современниками этой книги “было относительно справедливым”, так как Гоголь не обладал призванием проповедника (С. 306). Исследователь отмечает, что писателем был выдвинут идеал воцерковления всей русской жизни, – идеал до сей поры глубоко значимый для России. При этом Гоголю было более по силам отражение “глубокой пропасти, зияющей между действительностью и идеалом”, и в этом и есть его настоящая ценность (С. 307–308). А в “положительном строительстве” общественной жизни писатель “часто ошибался”. И все-таки, утверждает Франк, Гоголь – “великий основатель художественного реализма в России”, хотя одновременно и “первый представитель глубокого и трагического религиозного стремления, которым проникнута русская литература” (С. 311).

Лекция известного русского философа Ивана Ильина “Гоголь – великий русский сатирик, романтик, философ жизни” (Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1997. Т. 6. Кн. 3), прочитанная в 1944 году в Цюрихе на немецком языке, начинается с утверждения, что постичь Гоголя нелегко: “Даже современники редко понимали его, а то и вовсе не понимали. Немногим лучше обстоят с ним дела и у потомков”. Но как беллетрист и новеллист он нравился всем. При жизни его ценили как “сатирика и юмориста, а лирико-мистическую и трагико-мистическую

* Окончание. См.: Русская речь. 2003. №№ 2–3.

сторону его таланта не понимали или едва понимали” (С. 241). Философ приводит пророческие слова Гоголя из его письма к В.А. Жуковскому: “Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня”.

Лекция движется по биографической канве. От отца писатель “унаследовал склонность к литературе и театру”, от матери – “тонкий и нервный душевный склад и искреннюю мистическую веру” (С. 243–244). Пушкин “вселил в него веру в себя, напутствовал его, поставив перед ним большие задачи, наметил перспективы” (С. 250). “Ревизор” и “Мертвые души”, как известно, напоминает Ильин, подсказаны Гоголю Пушкиным. “Родину души своей” он обрел в Риме: здесь переделывается украинский эпос “Тарас Бульба”, заканчиваются новелла “Шинель” и 1-й том “Мертвых душ”. За границей писатель “ведет оживленную переписку с друзьями в России, страдает безденежьем и черной меланхолией” (С. 253–254).

Рассказ о жизни Гоголя, по необходимости беглый, приходит к “Выбранным местам из переписки с друзьями”, к “злобному письму” Белинского, к “роковой встрече” писателя с “фанатичным ортодоксом-священником Матвеем Константиновским”. Ильин называет его “предельно ограниченным человеком”. В результате – “Гоголь погрузился в болезненную аскезу”. В 1848 году он совершает поездку в Иерусалим, “будучи не в состоянии ее духовно оценить”, затем в Оптиной пустыни посещает мудрого старца, который “на какое-то время вселяет в его душу покой”, и работает над вторым томом “Мертвых душ”. Перед смертью Гоголь “в смятении и сомнении” сжигает свои рукописи (С. 255–256).

Во второй части лекции Ильин упоминает о “загадке” смерти писателя, которая “стала классической проблемой в русской литературе. Немало усилий было потрачено на то, чтобы разрешить ее, но успехи мизерные” (С. 256). Отвергая версию о душевной болезни, автор статьи замечает, что великий сатирик “чувствовал и знал неискоренимое зло в человеческой натуре, знал доподлинно и глубоко”. В этом заключался источник его особых мучений. “При этом Гоголь был чистый, нравственно-благочестивый, склонный к идеализации и мечтательности мистико-религиозной натурой” (С. 262). Творческий путь его – это путь “очищения”.

Называя почти все художественные произведения Гоголя, Ильин видит в них “отражение злободневности тогдашней России”. “Мертвые души” значительно глубже, чем это кажется на первый взгляд: “Главная идея поэмы имеет глубокий религиозный смысл”. Ее герои “утратили Божественное измерение вещей и жизни и превратились в мертвые души” (С. 270). Книга Гоголя должна была “положить начало развенчиванию пустоты и очищению во всерусском масштабе”. Этим объясняется то обстоятельство, что он стал печальным, когда прочитал отдельные главы поэмы своим друзьям и увидел, что они

смерются (С. 271). То, что Гоголь часто покидал Россию, было его “роковой ошибкой”. Ему так и не удалось совершить “большое путешествие по России” (С. 274–275).

Часто Ильин по ходу лекции вспоминает о том, какую большую помощь оказывал писателю Пушкин. Когда настал предсмертный кризис, друзья сочувствовали Гоголю, “помочь же ему мог только более великий, но тот погиб” (то есть Пушкин). Будь жив Пушкин, Гоголь не умер бы так рано и таким образом. В заключение Ильин говорит: “Отчаявшийся в своем художническом даре, разочарованный, гонимый завистливой хулой кое-кого из тогдашних знаменитостей, мучимый аскетически-фанатичными советами священника Матвея Константиновского, который требовал от Гоголя ни больше ни меньше как отречься от греховного духа Пушкина; ослабевший здоровьем и нервами по причине длительной и неумолимо строгой аскезы, покинутый и одинокий – сложил несчастный и мучимый гений свои крылья и без малейшего сопротивления покинул земную юдоль” (С. 276).

Три статьи о Гоголе, позднее объединенные в работе “Gogol-Studien” (Gogol’ – Turgenew – Dostoevskij – Tolstoj. München, 1966), были написаны Дмитрием Чижевским в разное время. Наиболее ранняя из них – «О “Шинели” Гоголя» (Современные записки. Париж, 1938. № 67) – создавалась в пору увлечения автором формальным методом. В частности, исследуя смысл слова “даже” в прозе писателя, он пытается раскрыть секрет гоголевского юмора, основанного на противопоставлениях. Чижевский по-новому интерпретирует образ Башмачкина, видя в нем не только “маленького человека”, но и героя, которого постигло духовное падение. Он выступает против упрощенного взгляда на писателя как на проповедника прописных истин: «Прежде всего от художественных произведений Гоголя надо ждать попытки разрешения сложных психологических вопросов, а не просто повторения аксиом (“я брат твой”) и избитых истин (“и крестьянки, то бишь бедные чиновники, чувствовать умеют”))» (С. 189).

Основная тема “Шинели”, по мнению Чижевского, – “воспламенение человеческой души, ее перерождение под влиянием, правда, очень своеобразной любви”. Это своеобразие заключается в том, что “не только любовь к великому, значительному может погубить, увлечь в бездну человека, но и любовь к ничтожному объекту, если только он стал предметом страсти”. Чижевский утверждает, что в центре внимания писателя оказывается не шинель сама по себе, но страсть, которая захватывает душу человека. Бороться с нею можно, по Гоголю, только имея в своей душе твердый центр, точку опоры, то есть веру в Бога. “Внешняя жизнь вне Бога, внутренняя – в Боге”, – цитирует исследователь слова Гоголя, поэтому познание Бога есть самопознание (С. 191–192).

Автор статьи констатирует, что страшная гибель возможна не только от страстей больших, но и ничтожных, и делает вывод: «Сю-

жет “Шинели” – своеобразное обращение евангельской притчи о “лепте вдовицы”: как лепта, грош может быть великою жертвою, так и мелочь, шинель, может быть великим искушением (мысль из “Добролюбия”). Не только Бог, но и диавол соответственно ценит такую лепту» (С. 195).

Религиозно-философский контекст творчества Гоголя был частично очерчен Чижевским в статье “Неизвестный Гоголь” (Новый журнал. Нью-Йорк, 1951. № 27), где он размышляет об особенностях духовного облика писателя. Исследователь считает, что Гоголь принадлежал к александровской эпохе, для которой было характерно увлечение мистицизмом: “Он оказался во многом единомышленником и союзником последующих поколений именно потому, что духовно принадлежал к поколению своих отцов” (С. 136). Чижевский отмечает в этой связи черты апокалиптичности в сознании писателя и говорит, что эти его настроения созвучны писаниям западных мистиков, таких, как Юнг, Штиллеринг, Сведенборг и др. Автор предлагает свою оценку “Выбранных мест из переписки с друзьями”, утверждая, что книга Гоголя не “проблески безумия”, не реакционный политический шаг, а плод влияния на его творчество святоотеческой литературы и протестантских представлений.

Затрагивает Чижевский и “формальную сторону” сочинений писателя, которая наряду с композицией и “инструментовкой” часто «закрывает от читателей идеологическую сторону произведений Гоголя, их идейные “программы”» (С. 150). Исследователь считает также, что «натуральный стиль создан и разработан Гоголем не с какой иной целью, как только чтобы преувеличенно отвлечительным, оттачивающим изображением повседневности в мрачных красках вызвать у читателя ту же тоску по высшему, неземному миру, которую Гоголь в произведениях романтического стиля (и в “Выбранных местах...”) пытается вызвать иными средствами – лиризмом и энтузиазмом». (С. 154–155). Это свое суждение Чижевский обосновывает множеством примеров. В заключение он делает замечание о реалистичности рисунка писателя: “Стиль Гоголя существенно отличается от стиля русских реалистов – и именно потому, что Гоголь очень мало интересовался правдоподобием своих образов и очень редко применял один из излюбленных приемов реалистов – мотивировку” (С. 156).

В статье Чижевского “Две родословных Гоголя” (Новый журнал. 1965. № 78) рассматриваются происхождение писателя в социальном плане и документы, подававшиеся в Императорское Гербовое ведомство (в Петербург) для перевода Гоголей из старинного “шляхетского” состояния в российское дворянство. Дворянство было получено, так как у чиновников ведомства не имелось возможности проверить поданные документы, и в то же время близкая родня Гоголей – Трощинские, Лизогубы, Танские – принадлежали к родовитому дво-

рянству, что и убедило чиновников в том, что есть у Афанасия Демьяновича право на дворянское звание.

Фамилия деда была Яновский, а “Гоголя” он прибавил к ней сам, так как дворянские права основывались для него более на родословной Гоголей, родни его, для которой он придумал, как пишет Чижевский, своеобразный роман в документах, смещая даты, изменяя имена или отчества предков, ведя все к началу рода – к Остапу (или Евстафию) Гоголю, казацкому полковнику, воевавшему и против Польши и против Москвы.

Автор находит целый ряд неувязок в утверждениях Афанасия Демьяновича. «Героическая родословная Гоголя... при ее проверке на основе исторических памятников рассыпается, как карточный домик. К сожалению, эта героическая родословная, возводящая род Гоголя к сотоварищам Тараса Бульбы – мифическая. Это генеалогический роман, сочиненный довольно неискусно дедом Гоголя Афанасием Демьяновичем Яновским (еще не “Гоголем-Яновским”)» (С. 73). В статье приводится немало доказательств (и весьма основательных) этому утверждению. Вопрос прояснен детально. В заключение Чижевский пишет: “Родословная будущего великого писателя без сомнения начинается со священника Яна Яновского. Но героическая романтическая генеалогия, в начале которой стоит полковник Остап Гоголь – генеалогия фантастическая. Верил ли ей Гоголь в юности, мы не знаем, но характерно, что в его украинских рассказах и в его письмах никаких упоминаний о ней нет” (С. 78).

Посмертно был издан подготовленный Чижевским доклад на немецком языке «“Да” и “нет” у Гоголя» (Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. Braunschweig, 1978. Bd. 215). Автор утверждает, что Гоголь не был “реалистом” в привычном смысле слова. Любое течение или направление русской литературы могло по праву видеть в нем своего предтечу. “Романтик”, “реалист”, “фантаст”, “сюрреалист” – подобные определения имеют смысл: Гоголь действительно представлял собой неповторимое литературное явление; но многое в его творчестве стало понятно позднее, в свете, например, сюрреализма. Не является ли такое “непонятное” произведение, как “Нос”, лучшим комментарием к “Превращению” Кафки? – спрашивает Чижевский. По мысли исследователя, Гоголь верил в возможность преображения пошлой и низкой действительности в мир возвышенный. Ироническое и сатирическое “нет” не является окончательным приговором этому миру. Напротив, оно стоит близко к “да”.

Чижевский обращается к художественным средствам, с помощью которых Гоголь, по его выражению, сращивает воедино “да” и “нет”, и в первую очередь, к гоголевской гиперболизации. Он полагает, что для писателя характерна не столько гипербола, сколько ее подвид, “гипероха” (Hyperoche), тип художественного преувеличения, распро-

страненный в литературе Средневековья и Ренессанса и отличающийся крайней степенью гиперболизации, особо возвышенной интонацией. У Гоголя этот вид гиперболы получает нередко обратное преломление, когда в подчеркнутую патетических тонах говорится о будничном и мелком. Чижевский указывает также на такую особенность его стиля, как способность “соединять несоединимое”, подразумевая обороты типа “иностранец Василий Федоров” или “портной из Лондона и Парижа”.

Очерк Бориса Зайцева “Гоголь на Пречистенском” (Возрождение. Париж, 1931. 29 марта) написан под непосредственным впечатлением от открытия памятника Гоголю на Пречистенском бульваре в 1909 г. Весной того года Зайцев вернулся из Рима и поселился в Сивцевом Вражке, в центре старой арбатской Москвы.

Здесь, сто лет назад, неподалеку – на Никитском бульваре – Николай Васильевич жил в доме Талызина у графа А.П. Толстого.

“Гоголь любил Пречистенский бульвар, – пишет Зайцев. – В нем самом не было светлого, но стремление к красоте – Рима ли, Италии, наших золотых куполов – всегда жило. И то, что прославить писателя Москва решила на Пречистенском, не удивляет”. Тут, в начале бульвара, и был поставлен памятник создателю “Мертвых душ”. “На Тверском бульваре Пушкин уже входил в пейзаж... – продолжает Зайцев. – Очередь дошла до Гоголя... Памятник заказали скульптору Андрееву...”. Как известно, в советское время он был заменен другим. Андреевский же и сейчас находится во дворе дома, где скончался великий писатель.

Характеризуя памятник Гоголю, он говорит, что скульптор, возвращавшийся в среде декадентов, изобразил его “измученным, согбенным”. “Одним словом, памятник не выигранный”, – замечает Зайцев. Открытие памятника описано им в слегка ироническом тоне некоторого разочарования: “Да, неказисто он сидел... и некий вздох прошел по толпе”. Отметил писатель и “печальную сторону” речей на этом торжестве: их ходульность, официальность. Описана им и “скука” торжественного заседания по случаю юбилея писателя в Московском университете, на котором почти не было писателей. На другом юбилейном заседании – в консерватории – разразился скандал в связи с речью Валерия Брюсова, считавшего Гоголя “испепеленным” тайными бурями и страстями. Когда он стал говорить “о желудке и пищеварении” писателя, его прервали, стали кричать “Довольно! Безобразия! Долой!”. Речь была окончена под свист. Заканчивается очерк на минорной ноте: “Одиноким Гоголь прожил. Одиноким перешел в вечность”.

Очерк “Жизнь с Гоголем” (Современные записки. 1935. № 59) – воспоминания о том, как читался и воспринимался Гоголь Зайцевым, начиная с детства. Очерк разделен на отрывки. В первом он рассказывает о том, как вообще воспринимали повести писателя дети. В отличие от взрослых, видевших в Гоголе юмориста, – серьезно, и особенно

повести “Вечеров на хуторе близ Диканьки” и “Тараса Бульбу”. “Гоголь юной душе предстоит не весь, но героически-поэтической своей стороной”, – пишет Зайцев (С. 273). Но вот ребенок стал юношей: “Мертвые души”, “Ревизор” – темы для сочинений “О значении Гоголя в русской литературе”, о “гоголевских типах” – “все это нужно, полезно... но казенно”. Далее, замечает автор, – «в студенческие годы наступает перерыв. Гоголь прочитан, это “классик”, великий писатель... ну и Бог с ним» (С. 274).

Как и в предыдущем очерке, Зайцев вспоминает о памятнике: “Памятник вдохновлен новым пониманием Гоголя. Удачно или неудачно исполнен, в нем есть отголоски писаний о Гоголе Мережковского, Брюсова”. В этой связи упоминаются книга Мережковского “Гоголь и чорт” и статья Брюсова “Испепеленный”. По словам Зайцева, в противовес трактовке писателя как “основателя реализма русского”, символисты обратились к его “внутреннему миру”: “Гоголь повернулся новой стороной. Интерес к нему усилился” (С. 274).

Касаясь новых подходов к языку писателя, Зайцев говорит, что Гоголя бранили за неправильности, а теперь видно, насколько “своеобразными” кажутся его строки, льющиеся по каким-то сложнейшим, лишь прозаикам ведомым законам... Как он отделял свои произведения”. Пользуясь исследованиями академика Н.С. Тихонравова, Зайцев составляет себе верный взгляд на метод творческой работы Гоголя: “подготавливая к новому изданию, перечитывает он, выправляет свои писания. Подтягивает и укрепляет фразу. Добивается большей яркости и живописности. Выбрасывает... лишние эпитеты” (С. 275). Что касается “Тараса Бульбы” – «он не усох, а раздался вширь. Тут дело особое... “Тараса Бульбу” Гоголь не то чтобы стилистически обрабатывал, а внутренне растопил и перелил в новые, обширнейшие формы. Получилось новое произведение».

Вспоминая годы революции, отъезд в эмиграцию, Зайцев замечает, что эмигранты покинули “Россию, Гоголя породившую”. В чужих странах русские писатели жили русскими интересами, русской культурой. Но страшно было не видеть перспективы возвращения: “Становится почти жутко, когда подумаешь, что вот уже в последний раз пересматриваешь святыни родной литературы: Толстого и Достоевского, Тургенева, Гоголя. Вечные спутники! Но не вечно самим себе равные, с разных сторон раскрывающиеся, по-разному воспринимаемые, сопровождающая нашу жизнь” (С. 276–277).

Зайцев говорит о прочтении Гоголя в новых условиях и в состоянии человека взрослого, многоопытного. При этом перечитываемый Гоголь всякий раз иной. Даже детский восторг от “Тараса Бульбы” забывается, повесть кажется слишком простой по идее: “Тема Сенкевича, попавшая в руки Гоголя...” (С. 277). Но “Ревизор” и “Мертвые души” – не тускнеют. И однако: “История с ревизором удивительна, на-

писана каким-то необычайным существом, но подозрительна. Она создана человеком, еще не преодолевшим в себе Хлестакова" (С. 278). Много странностей открывается и в "Мертвых душах", но они – "крепче". Вместе с тем "сила галлюцинации" в поэме "родственна магии и – пожалуй – имеет даже неблагоприятный характер. Что-то есть в ней общее с вызыванием духов" (С. 279).

Чтение углубляется в "лучшую" сторону: «И круг проникновения в Гоголя расширяется. Вновь появляются "Переписка с друзьями", письма, но теперь и "Авторская исповедь", и раньше совсем не замеченные "Размышления о Божественной литургии". В этих чтениях складывается более полное и сложное представление о Гоголе» (С. 280). И, наконец, появляется мысль: "А другая его сторона совсем иная. С детства несокрушимая вера в Бога... чувство великой ответственности за свою жизнь".

Гоголь заставляет и его самого принимать с глубоким интересом. "Был у Гоголя еще дар, прекрасный, но не дающий покоя: стремление стать лучше (сознавая свои несовершенства)" (С. 281). Аскетические устремления Гоголя становятся достоянием думающего читателя, начинают учить. Автор очерка считает, что "аскеза давалась Гоголю, по-видимому, трудно". По прочтении "Выбранных мест из переписки с друзьями" Зайцев заключает: «Да, уж никак не назовешь здесь Гоголя христианином среднего, серенького типа! Не было в нем никакого благополучия! Или спасение, или гибель... "Переписка" книга такая, что, читая ее в зрелом возрасте... нельзя ее не переживать. Она именно не читается, а переживается... Это книга героического духа» (С. 282). Говоря о непонимании "Переписки" даже друзьями, он замечает, что дьявол "напустил тумана в глаза и навел марево даже на людей, казалось бы, обязанных Гоголя понять" (С. 283).

Стиль позднего Гоголя изменился: "Мало зрительных образов. Тут уж нечем блеснуть. И не до блистания. Некий ровный, серовато-жемчужный налет над его страницами. А строка звучит тонкими, удивительными, гоголевскими – еще не изученными – ритмами" (С. 284). Неудачу второго тома "Мертвых душ" Зайцев объясняет тем, что Гоголь «выдумывал лица неживые, разных Костанжогло и Муразовых, впадал в морализирование, неубедительно "обращал" к добру Чичикова, вводил какого-то добродетельного генерал-губернатора». Вероятно, всем этим он как художник не мог быть вполне удовлетворен.

Зайцев предполагает существование еще одного пути – спасительного для Гоголя, но до конца не осуществленного – пути духовной прозы: «Может быть, Гоголь, пройдя полосу крайнего морализирования, желая непременно поучать, чуть не насильно вести к благу, и успокоился бы и, взявшись за писание иного рода, где сияла бы его восторженность, его жажда небесных звуков, написал бы произведение живоносное, обвеянное Духом Святым. Но это не были бы "Мерт-

вые души”. Намеком на такую, возможную, удачу является замечательное его предсмертное произведение “Размышления о Божественной литургии”. Не берусь судить о нем со стороны богословской. Но как поэзия и литература это прекрасно, полно истинной гармонии духовности и под скромным обликом описания церковной службы дает в самом напеве своем, в прозрачности, внутренней просветленности как бы отражение в словесности духа Литургии. В “Размышлениях” Гоголь поступил как музыкант, в зрелом возрасте перешедший от сочинения светской музыки к созданию церковной» (С. 284–285).

«Может быть, – рассуждает далее Зайцев, – если бы он вполне оставил прежние литературные формы и для нового своего духовного содержания искал нового писания, не имеющего отношения к Чичиковым, но и лишнего дидактизма (ведь и “Размышления” ничего не навязывают, они изображают, отображают), – возможно, все было бы по-иному и жизнь его приняла бы другой вид». Но этого не случилось.

Итак, Зайцев, читая произведения Гоголя на протяжении своей жизни от детства до зрелости, в каждом возрасте и при разных обстоятельствах находил в них новые грани, чуть ли не новое содержание. «Опасение, что Гоголя слишком хорошо знаешь, что он исчерпан и при перечитывании не даст нового или даже побледнеет, не оправдывается. Читаешь его по-иному и находишь не совсем то, что думал найти... Но находишь очень многое. Замечательна разница с Толстым. Перечитывая Толстого, в сущности, дальше “Войны и мира” и “Анны Карениной” идти не хочется. С Гоголем иначе, хотя сильнее первого тома “Мертвых душ” и он ничего не написал. Но своим путем, фигурую – Гоголь зовет дальше» (С. 285).

Символисты сказали новое слово, замечает Зайцев, но не поняли Гоголя во всей его полноте, обузили его. “Не выудишь из Валерия Брюсова, что Гоголь любил детей, а это именно так: вот этот Гоголь, якобы только и занимавшийся чертовщиной, детей любил, и дети его любили” (С. 286). Восхищается автор очерка и нестяжательностью Гоголя: “Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет”, – приводит он слова писателя. “Сомнения, тоска, даже отчаяние посещали его. – Посещало и страшное чувство безблагодатности, оставленности Богом. Крест тягчайший! Но с какой покорностью, смирением он его нес!.. Все равно он прожил героически. И заслужил терновый венец – увенчание великих жизней, пусть и кажущихся неудачами” (С. 287).



“Упреки совести...”

Понятие “совесть” в русской литературе

Е. А. ПОПОВА,

доктор филологических наук

В том образе человека, который создан русским языком и литературой, совесть занимает важное место. Это слово входит в состав многих фразеологизмов: *для очистки совести, по совести, со спокойной совестью, знать совесть, поступать против совести, совесть заговорила, с чистой совестью, сделка с совестью, без зазрения совести* и др.; имеет большое количество производных: *совестливый, совестливо, совестливость, совестно, бессовестный, бессовестно, бессовестность, совестить, засовеститься, посовеститься, усовестить* и др.

О том, что совесть высоко ценилась русским народом, свидетельствуют пословицы, собранные В.И. Далем: За совесть да за честь – хоть голову снести; Добрая совесть – глаз (глас) Божий; Добрая совесть любит обличение; Совесть без зубов, а загрызет; С совестью не разминуться; Как ни мудри, а совести не перемудришь; У меня подушка под головой не вертится (т.е. совесть чиста); Совесть с молоточком: и постукивает и наслушивает; У кого совесть не чиста, тому и тень кочерги виселица!; Глаза – мера, душа – вера, совесть – порука.

Подобно душе, сердцу, памяти, уму, она входит в класс слов, обозначающих невидимые сущности (“органы”) внутри человека и образующих наивно-языковую анатомию. «Однако *совесть* похожа не столько на обычный человеческий орган, сколько на особое существо – на “человека внутри человека”; ср. *Совесть обличает < велит, подсказывает, не пускает, не дает спать по ночам >* и т.д.» (Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Под рук. Ю.Д. Апресяна. М., 1999. Первый вып. С. 87). Можно находиться в согласии или разладе с собственной совестью. Она тесно связана с душой – главным “внутренним органом” человека. Из определения в “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля следует, что совесть и душа соотносятся между собой, как часть и целое, совесть – это сокровенная часть души, “нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в

котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; прирожденная правда, в различной степени развития”.

Поэтому любой грех, любое содеянное человеком зло являются одинаково тяжким бременем для его совести и души. В выражении “грех (злодеяние, кровь и т.п.) (лежит) на душе (на совести)” словоформы *на душе*, *на совести* нередко легко взаимозаменяются Ср. у А.К. Толстого: “Много у нас крови на душе...” (“Князь Серебряный”); у Пушкина: “Разве мало крови на твоей совести?” (“Капитанская дочка”); “На совести усталой много зла, Быть может, тяготеет” (“Каменный гость”). В “Пиковой Даме” Томский говорит Лизавете Ивановне о Германне: “...на его совести по крайней мере три злодейства”. Когда Германн признается девушке, что стал причиной смерти старой графини, “слова Томского раздались в ее душе: у этого человека по крайней мере *три злодейства на душе!*” (здесь и далее курсив наш. – Е.А. Попова). По замечанию Н.Д. Арутюновой, “злодейства, лежащие на совести Германны, позволяют судить о его душе, т.е. нравственности Германны. Состояние совести дает ключ к пониманию души человека. Поэтому не удивительно, что Лиза легко перемещает злодеяния с совести на душу” (Арутюнова Н.Д. О стыде и совести // Логический анализ языка: Языки этики. М., 2000. С. 74).

Таким образом, «если этика – это наука о навигации в ценностно-ориентированном мире, то совесть – это встроенный в душу человека “навигационный прибор”, нечто вроде морального компаса» (Шрейдер Ю.А. Этика: Введение в предмет. М., 1998. С. 185).

Но во внутреннем мире человека совесть соотносится не только с душой, но и с сердцем. В сказке Салтыкова-Щедрина “Пропала совесть” бедная, изгнанная, никому не нужная совесть, которую каждый старается побыстрее сбрызнуть с рук, умоляет своего последнего держателя, мещаниншику: “...отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем!” О сердце, как о месте обитания совести во внутреннем мире человека, говорят и другие примеры. Ср. у Пушкина: “В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести ...” (“Пиковая Дама”); у Салтыкова-Щедрина: “... душа моя погрузится в безрассветный мрак, а сердце перестанет быть доступным угрызениям совести” (“Христова ночь”).

Слова *совесть*, *душа*, *сердце* авторы “Нового объяснительного словаря синонимов русского языка” во многих случаях рассматривают как синонимы.

“Толковый словарь русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова выделяет в этом понятии такой компонент лексического значения, как

оценка: “Совесть. Внутренняя оценка, внутреннее сознание моральности своих поступков, чувство нравственной ответственности за свое поведение”. Почти такое же определение этого слова дает “Словарь русского языка” (М., 1961. Т. IV). *Оценка* связывает совесть со словом *суд*: “Суд. Суждение, мнение; заключение, оценка” (Там же.). Следовательно, совесть – это суд, которым человек судит самого себя. Воскресший Иисус Христос в сказке Салтыкова-Щедрина “Христова ночь” говорит грешникам: “...во имя моего воскресения я и перед вами открываю путь к спасению. Этот путь – суд вашей собственной совести”. Представление о том, что такое суд совести, дает стихотворение В.Т. Шаламова “Меня застрелят на границе...”

Меня застрелят на границе,
Границе совести моей,
И кровь моя зальет страницы,
Что так тревожили друзей.

Когда теряется дорога
Среди щетинящихся гор,
Друзья прощают слишком много,
Выносят мягкий приговор.

Но есть посты сторожевые
На службе собственной мечты,
Они следят сквозь вековые
Ущербы, боли и тщеты.

Когда в смятенье малодушном
Я к страшной зоне подойду,
Они прицелятся послушно,
Пока у них я на виду.

Когда войду в такую зону
Уж не моей – чужой страны,
Они поступят по закону,
Закону нашей стороны.

И чтоб короче были муки,
Чтоб умереть наверняка,
Я отдан в собственные руки,
Как в руки лучшего стрелка.

Не бывает человека, совсем лишенного совести. Как и душа, она дается ему от рождения, но совесть может *спать*, *дремать*, с ней можно *заключить сделку*... И тогда, по выражению Салтыкова-Щедрина, совесть “утрачивает ту деятельную чуткость, которая обязательно напоминает человеку о ее существовании”.

От того, насколько она справляется со своими обязанностями нравственного наставника и “строного внутреннего судьи ... всегда нацеленного на добро, обладающего врожденным безошибочным чувством высшей справедливости” (Апресян Ю.Д. Избранные труды. М., 1995. Т. II. С. 353), зависит жизнь как самого человека, так и окружающих его людей. Не случайно в слове *совесть* когда-то выделялась приставка *со-*, обозначающая совместность, соединение (ср. *собрат, соавтор, соратник, сотрудник, сообщник, соученик*), а общеславянское **съvěstь* значило “(по)знание, получаемое вместе с кем-либо” (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1994. Т. 2. С. 184).

Герой поэмы Пушкина “Братья разбойники”, рассказывая о своей судьбе, упоминает о том, как они с братом расстались с совестью:

Мы жили в горе, средь забот,
Наскучила нам эта доля,
И согласились меж собой
Мы жребий испытать иной:
В товарищи себе мы взяли
Булатный нож да темну ночь;
Забыли робость и печали,
А совесть отогнали прочь.

В теории Раскольникова необыкновенному человеку дано право “разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия ... если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует”. Разумихин возражает: “Ведь это разрешение крови по совести, это <...> страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать”. Великий инквизитор из “Братьев Карамазовых” Достоевского считает, что с помощью трех сил, которые отверг Христос: чуда, тайны и авторитета – можно победить и пленить совесть людей для их же счастья. Победа над ней даст неограниченную власть над людьми, “ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью”.

Мир, из которого люди изгнали совесть, изобразил Салтыков-Щедрин в сказке “Пропала совесть”: “...ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее лстить, пресмыкаться, обманывать, наущничать и клеветать. Всякую *болесть* (курсив автора. – Е.П.) вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись, ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься <...> Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница-совесть <...> мудрые мира поняли, что они наконец освободились от последнего ига, которое затрудняло их движения, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди

остервенились, пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение". И, напротив, она, по мнению писателя, надежный гарант того, что "исчезнут (...) все неправды, коварства и насилия".

Совость – это голос Бога, звучащий в душе человека (подробнее о христианском аспекте совести см.: Арутюнова Н.Д. Указ. соч.; Столяров А.А. Феномен совести в античном и средневековом сознании (К постановке проблемы) // Историко-философский ежегодник. 1986. М., 1986. С. 31–34). Одно из прежних значений этого слова, пришедшего в древнерусский язык из старославянского, – *разумение, понимание*, прежде всего Божьей воли о должных и недолжных действиях (Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. М., 1989. Т. III. Ч. I).

То, что именно благодаря ей человек связан с Богом, подтверждают произведения русских классиков, в которых слова *Бог* и *совость* часто встречаются в одном контексте: "Я, величайший преступник, убийца отца, убийца сотен тысяч людей на войнах, которых я был причиной, гнусный развратник, злодей, верил тому, что мне про меня говорили, считал себя спасителем Европы, благодетелем человечества, исключительным совершенством (...) Я считал себя таким, но Бог не совсем оставил меня, недремлющий *голос совести* не переставая грыз меня" (Толстой Л.Н. Посмертные записки старца Федора Кузмича). Словосочетание *христианская совость* встречаем в "Капитанской дочке" Пушкина: "Как тебя назвать не знаю, да и знать не хочу... Но Бог видит, что жизнью моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести", – говорит Гринев Пугачеву.

Однако совость относится к числу нравственных абсолютов, поэтому не зависит от мировоззрения и религиозной веры.

Важная этическая заповедь гласит, что нехорошо упрекать и попрекать другого человека. Видимо, ее имел в виду Достоевский в "Записках из Мертвого дома", когда писал: "Попробуй кто не из каторжных упрекнуть арестанта его преступлением, – выбрать его (хотя, впрочем, не в русском духе попрекать преступника) – ругательствам не будет конца" (О попреках с точки зрения русской языковой этики см. статью И.Б. Левонтиной, А.Д. Шмелева "Попречный кус" // Русская речь. 1996. № 5). Отрицательная оценка упрека и попрека содержится в диалоге между Вронским и Анной Карениной:

– Я не упрекаю.

– Нет, вы упрекаете! Боже мой! зачем я не умерла".

В рассказе А.П. Чехова "Отец" герой хвалит своих детей за то, что они его не попрекают за пьянство: "Потом проводил меня до самого дома и хоть бы одним словом попрекнул! (...) Мучу я вас, терзаю, срамлю, обираю, а за всю жизнь не слышал от вас ни одного слова упрека, не видал ни одного косога взгляда".

Самоупреки характерны и для внешней, и для внутренней речи: "...осыпаю себя упреками, но я не могу себя переменить" (Тургенев. Дым).

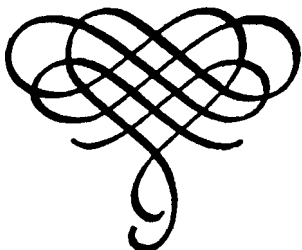
Поскольку совесть живет в душе и сердце человека, то самоупреки есть не что иное, как упреки совести. Например: "Давно уже не сосало и не глодало в душе графа Каллаша так сильно и так много, как теперь; потому, быть может, еще первый раз кольнул его горький *упрек совести* за родную сестру" (Крестовский В.В. Петербургские трущобы); "Бесплодные сожаления о минувшем, жгучие *упреки совести* язвили его, как иглы, и он всеми силами старался свергнуть с себя бремя этих упреков, найти виноватого вне себя и на него обратить жало их" (Гончаров. Обломов).

Для того, у кого нечиста совесть, она – "когтистый зверь, скребущий сердце... незванный гость, докучный собеседник, заимодавец грубый, эта ведьма, от коей меркнет месяц и могилы смущаются и мертвых высылают". Такие ассоциации вызывает она у пушкинского Скупого рыцаря. Наиболее ярко состояние человека, которого мучают угрызения совести, передано великим поэтом в монологе Бориса Годунова:

Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить,
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою.
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелось,
Тогда – беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И всё тошнит и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Последняя фраза стала крылатым выражением.

Липецк



“БОГ СОХРАНЯЕТ ВСЕ, ОСОБЕННО СЛОВА...”

Аллюзии в поэзии И. Бродского

А. М. РАНЧИН,

доктор филологических наук

Цикл Бродского “Часть речи” пронизан интертекстуальными связями с русской и мировой классической поэзией (См.: Бельская Л.Л. “Часть речи” Иосифа Бродского // Русская речь. 1998. № 1). Выражение “часть речи”, которым назван цикл, завершает посвященное памяти, забвению и смерти стихотворение «...и при слове “грядущее” из русского языка»:

От всего человека вам остается часть
Речи. Часть речи вообще. Часть речи.

(Бродский И.А. Соч.: В 4 т. СПб., 1992. т. II. С. 415; далее – только том и стр.).

Исследователи поэзии Бродского отметили переключку этих строк с горациевско-пушкинскими образами (Ковалева И.И., Нестеров А.В. О некоторых пушкинских реминисценциях у И.А. Бродского // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1999. № 5. С. 13–14). В пушкинском стихотворении “Я памятник себе воздвиг нерукотворный...” этот образ развернут в строках:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит...

Но из русских стихотворных переложений – подражаний оде Горация “К Мельпомене” формально строки Бродского ближе к “Памятнику” Державина, писавшего:

Так! – весь я не умру, но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить...

Однако Державин пишет вслед за Горацием о долгой славе поэта, которая и обозначена словосочетанием “часть большая” – точным ответствием Горациевой “*multa pars*”. Как справедливо заметил Лев Лосев, “часть меня большая” у Державина означает не “моя большая часть”, а “часть, которая больше меня” (Loseff Lev. “On the Centenary of Anna Akhmatova” // Joseph Brodsky: The Art of a Poem / Ed. by Lev Loseff and V. Polukhina. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London; N.Y., 1999. P. 229). Но больше “я” может быть прежде всего не душа, а слава; Гораций также писал, естественно, о славе, а не о бессмертии души. В пушкинском подражании Горацию тема бессмертия поэта впервые соединяется с христианской темой бессмертия души: именно творчество дает надежду на ее спасение (См. об этом: Сураг И.З. Жизнь и лира. О Пушкине: статьи. М., 1995. С. 152; Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 290, 300). У Бродского есть стихотворение, в котором сходным образом сплетены эти мотивы, – стихотворение “На столетие Анны Ахматовой” (1989), подхватывающее тему пушкинского “Я памятник себе воздвиг нерукотворный...”:

...Бог сохраняет все; особенно слова
прощенья и любви, как собственный свой голос...

(...)

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла – тебе и части тленной,
что спит в родной земле... (III; 178)

Более того, Бродский даже усиливает значимость понятия “душа” в сравнении с Пушкиным. Если в пушкинском стихотворении “душа в заветной лире” скрыто обозначена как *часть* “Я” поэта (оппозиция “весь я – душа”), то в тексте Бродского душа противопоставлена телу, которое названо “частью тленной”. Из этой оппозиции как бы следует, что тело – часть, смертная часть целого – души.

Но в стихотворении «...и при слове “грядущее” из русского языка...» ни мотива бессмертия души, ни мотива долговечной славы поэта нет. Стихотворение полемично по отношению к горациевско-державинско-пушкинской традиции “Памятника”. Вместо поэта, “Я” – человек вообще, остающаяся от него “часть” меньше целого, и это подчеркнуто местоимением “весь” в выражении “весь человек”. Какова же семантика слова “часть” в этом стихотворении?

Слово “часть” – буквально первая часть выражения “часть речи”, расчлененного надвое посредством переноса. Этот *enjambement* – зримое воплощение на формальном уровне мотива разделения человека смертью на две “части”. Инерция восприятия, диктуемая смыслом, заставляет ожидать вслед за стержневым компонентом, словом “часть”, компонент зависимый – существительное в форме родительного па-

дежа, относящееся по смыслу к сущности “всего человека”. Ожидается словосочетание наподобие “часть тела”: “От всего человека вам остается часть [тела]”. Такое предложение прочитывается как сентенция на тему человеческой бренности.

Но читатель готов и к другой конструкции: “От всего человека вам остается часть” – без продолжения высказывания в следующей строке. В этом случае анализируемый стих воспринимается как суждение о соотношении целого и части. Следующая за “частью” “речь” в выражении “часть речи” семантически непредсказуема и немотивированна. Если от человека остается “часть речи”, значит, сам он состоит из речи или есть не что иное, как речь, сообщение. *Человек как часть речи* – метафора, относящаяся к числу “филологических метафор”, столь любимых автором сборника “Часть речи” (Термин Д.Н. Ахапкина. О “филологических метафорах” у Бродского см.: Ахапкин Д. “Филологическая метафора” в поэтике Иосифа Бродского // Русская филология 9. Сборник научных работ молодых филологов. Тарту. 1998).

Благодаря повтору словосочетания в завершающей строке акцентирована его значимость: “...часть/речи. Часть речи вообще”. Стиховой перенос и повтор служат возможной идентификации слова “часть [человека]” и выражения “часть речи”: “от всего человека вам остается часть” [и эта часть есть часть речи]. Благодаря повтору также обыгрывается полисемия словосочетания “часть речи”: 1) элемент грамматики языка (части речи – существительные, глаголы, прилагательные и т.д.); 2) фрагмент высказывания, текста (“речь” в данном случае имеет то же значение, что и “речь” – “parole” в концепции Ф. де Соссюра). В эллиптическом предложении “Часть речи вообще” уточнение “вообще” придает словосочетанию “часть речи” не смысл “грамматический элемент” (часть речи конкретная), а смысл “часть высказывания, словесного текста”.

Дополнительное значение строкам Бродского придает местоимение “вам”. В стихотворении оно употреблено в абстрагированном, обобщенном значении. “Вы” – люди вообще, те, кто остаются после смерти отдельного человека. Но допустима и другая интерпретация: “вы” противопоставлены “ему”, уходящему из мира человеку. Для “них” (“вас”) от этого человека, действительно, остается только “часть речи”. Но для него самого, для умершего, и, быть может, для Бога, вероятно, остается что-то еще. Например, душа, о которой писал Пушкин в стихотворении “Я памятник себе воздвиг нерукотворный...”.

По мнению Д. Ригсби, “элегическое мышление” Бродского эволюционирует от “осторожной веры” (“wary belief”) в “трансцендентные механизмы”, будь то религиозные системы или иные виды дискурса, к скептицизму и “радикальному натурализму” (“thoroughgoing natural-

ism” – Rigsbee D. Styles of Ruin: Joseph Brodsky and the Postmodernist Elegy. Westport, Connecticut, London, 1999. P. 141). Если принимать это мнение, трактовка мотива смерти в «...и при слове “грядущее” из русского языка...» окажется как бы некоей “серединой” между “осторожной верой” и “радикальным натурализмом”.

В 1993 году Бродский напечатал стихотворение “Итака”:

Воротиться сюда через двадцать лет,
отыскать в песке босиком свой след.
И поднимет барбос лай на весь причал
не признаться, что рад, а что одичал.

Хочешь, скинь с себя пропотевший хлам;
но прислуга мертва опознать твой шрам.
А одну, что тебя, говорят, ждала,
не найти нигде, ибо всем дала.

Твой пацан подрост: он и сам матрос,
и глядит на тебя, точно ты – отброс.
И язык, на котором вокруг орут,
разбирать, похоже, напрасный труд.

То ли остров не тот, то ли впрямь, залив
синевой зрачок, стал твой глаз брезглив:
от куска земли горизонт волна
не забудет, видать, набегая на. (III; 232)

“Итака” – своего рода “перелицованная наоборот” “Одиссея”. Основной текст – “посредник”, превращающий поэму о счастливом возвращении Одиссея в стихотворение о возвращении несостоявшемся и/или нежеланном, – роман Джеймса Джойса “Улисс”. (Подробный анализ гомеровского и джойсовского пластов в “Итаке” дан в моей книге «“На пиру Мнемозины”: интертексты Иосифа Бродского» // Библиотека “Нового литературного обозрения”. Вып. 30. М., 2001. С. 443–458).

Но во второй строке “Итаки” содержится аллюзия на совсем иное произведение: след *босой* ноги на песке до лирического героя Бродского находил Робинзон Крузо, персонаж знаменитого романа Даниэля Дефо (упоминание о следе, оставленном именно *босой* ногой, значимо как знак интертекстуальной связи с романом о Робинзоне Крузо). Однако в романе Дефо это был след *чужой* ноги, ноги дикаря: так Робинзон Крузо убедился, что его остров посещают люди. Герой же Бродского обнаруживает отпечаток собственной ступни, и это – свидетельство, что его “остров” воистину необитаем. След сохраняется первозданным и спустя двадцать лет, – казалось бы, ничто не меняет-

ся. Впрочем, следующие строки опровергают такое предположение: напротив, все стало иным, и герой “Итаки” вернулся в чужой и чуждый ему мир, а может быть, просто попал на другой остров.

“Новый Одиссей” – лирический герой Бродского – неотделим от самого автора, двадцать лет назад, в 1972 году покинувшего родину и сына, оставленного изменившей возлюбленной. Благодаря скрытому уподоблению лирического героя одновременно и Робинзону Крузо, обнаружившему след на прибрежном песке, и дикарю, оставившему этот след, время, в котором пребывает персонаж Бродского, наделяется чертами варварства, дикости. Современность как эпоха одичания – инвариантный мотив поэзии Бродского. В частности, в русском стихотворении 1994 года “Робинзолада” и в английском стихотворении того же года “Infinite” в образе дикарей – обитателей некоего острова представлены новые поколения.

Неопределенная форма глаголов “воротиться” и “отыскать” может быть понята как выражение изъявительного наклонения; при таком понимании возвращение предстает реальным событием. Но допустимо и другое толкование: в тексте речь идет о некоем мысленном возвращении, и инфинитивы указывают на условное и/или желательное наклонение. “Воротиться” и “отыскать” – как бы усеченные конструкции “воротиться бы”, “отыскать бы” (или “если бы воротиться”, “если бы отыскать”).

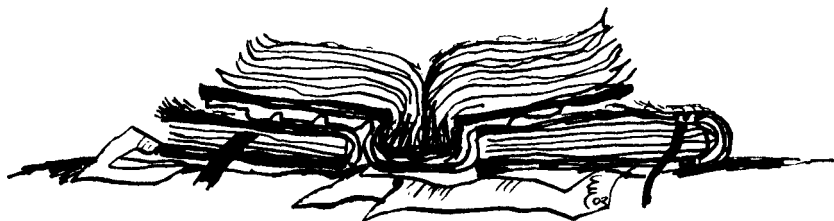
Строка “отыскать в песке босиком свой след” интересна не только своей читатной семантикой, восходящей к роману о Робинзоне Крузо. Необычна и ее синтаксическая структура. Согласно правилам синтаксиса, наречие “босиком” должно находиться в подчинительной связи с глаголом (этот тип связи – примыкание). Однако конструкция “отыскать босиком” невозможна по смыслу. Семантически слово *босиком* связано со словом *след*, и, соответственно, стих Бродского должен восприниматься как эллиптическое высказывание, подвергшееся инверсии. Его исходная форма: “отыскать в песке свой след, оставленный, когда ходил босиком”. Но допустимо и другое толкование: “отыскать, ходя босиком, свой след в песке”. Такая конструкция – также эллиптическое предложение с инверсией. С помощью наречия *босиком* характеризуется действие, относящееся не к прошлому (ко времени, когда был оставлен след), а к настоящему, ко времени, когда этот след был найден. Размытость семантических и синтаксических связей наречия босиком не случайна: самим построением предложения поэт подчеркивает, что различие между прошлым и настоящим условно.

В итоге, читающий строку Бродского, очевидно, остановится на ее истолковании либо как трансформированного высказывания, либо как переименованного предложения. Только при таком толковании текст сохраняет семантическую связность. Но другие, отвергнутые, “абсурдные” интерпретации продолжают мерцать, просвечивать сквозь ткань

текста. Многозначность – природное свойство поэтического слова, но в “Итаке” это “дурная” многозначность.

“Итака” – это стихотворение о распаде всех связей человека с его близкими, и стихотворение о разрыве форм коммуникации, о невозможности общения и понимания. Лирическому герою изменяет любимая женщина, от него отворачивается, его презирает сын. Сам язык в тексте Бродского подвергается разрушению. Как тонко заметила Л.В. Зубова, в “Итаке” происходит разрушение грамматической связности языка, иллюстрирующее в плане выражения мотив невозможности коммуникации героя с теми, кто населяет остров. Иногда слова в “Итаке” даже теряют частеречную принадлежность. Так, “залив” в стихотворении – и деепричастие, и существительное: «В последней строфе слово *залив* (...) грамматически и семантически двусмысленно (*ambiguos*); до *enjambement* оно воспринимается как существительное, а после – как деепричастие (часть фразеологизма *залить глаза* – напиться). С некоторым усилием возможно истолковать эти запутанные фрагменты так: “волна, бегущая к горизонту от клочка земли, не забудет тот остров”. Однако эти строки могут значить полностью противоположное: “волна, набегающая на клочок земли, не забудет горизонт”» (Zubova L. “Odysseus to Telemachus // Joseph Brodsky: The Art of a Poem. P. 39). “Итака” – и название острова, и трансформированное словечко “итак” (Там же. P. 40).

Семантически неопределенная и противоречивая, синтаксически аморфная строка “отыскать в песке босиком свой след” – еще один знак отчуждения лирического героя от других и от мира.



ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ С НИМИ КОНСТРУКЦИИ

В. И. МАКСИМОВ,
доктор филологических наук

По определению, данному в “Лингвистическом энциклопедическом словаре” (ЛЭС), фразеологизм (фразеологическая единица) – “общее название семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые (...) воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексико-грамматического состава”. По степени семантической слитности компонентов фразеологизмы делятся на несколько типов. Наиболее известна и популярна их классификация, предложенная академиком В.В. Виноградовым. Сюда входят следующие фразеологические единицы: *фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания и фразеологические выражения.*

Во второй половине XX века наметились попытки к ограничению понятия фразеологизма. Характерны в этом отношении, например, взгляды составителей первого “Фразеологического словаря русского языка”, вышедшего под ред. А.И. Молоткова (1967 г.). Авторы не соглашались с распространенными на то время критериями определения фразеологизма. В предисловии к Словарю его научный редактор пишет: “В качестве критериев определения фразеологизма в русском языке называют в различных комбинациях устойчивость, целостность значения, не выводимую из суммы значений составляющих его слов, раздельнооформленность, возможность структурных вариантов, или новообразований, воспроизводимость, неперевоидимость на другие языки (...) Во фразеологизме находят метафоричность, образность, экспрессивно-эмоциональную окраску и т.д.

Между тем, анализ фразеологизмов русского языка со стороны значения, формы и употребления позволяет утверждать, что ни один из этих признаков, ни сам по себе, ни в совокупности с другими, не является категориальным, определяющим, различительным, диффе-

ренциальным признаком фразеологизма". Такими категориальными признаками фразеологизмов авторы считают три: лексическое значение; компонентный состав; наличие грамматических категорий. Два из этих признаков – лексическое значение и грамматические категории сближают фразеологизм и слово. Например, они могут выступать в качестве синонимов: *заморить червячка* – *перекусить*, *в один голос* – *одновременно*, *пустить пузыри* – *утонуть*. Фразеологизмы, как и слова, способны вступать в любые виды синтаксической связи с другими членами предложения: согласование (Моё, твоё дело *маленькое*; Не слышал, чтобы такие *тертые калачи*, этикие *стреляные воробьи* исправлялись. К. Федин), управление (Дедушка *даст* тебе жару. И. Арамылев; Я на тебя *сердце не держу*, и ты на меня не держи. Г. Николаева), примыкание (Это была *вспыльчивость* в соединении с его старою гусарскою *привычкой давать волю рукам*. Л. Толстой; Ничего не делаем, работаем *спустя рукава*. С. Антонов).

Однако кроме таких категориальных признаков, как лексическое значение, компонентный состав и наличие грамматических категорий, которые присущи всем фразеологизмам, значительной их части свойственны все же и те семантико-структурные признаки, которые отвергаются составителями рассматриваемого словаря. Это устойчивость, пусть относительная, а следовательно, воспроизводимость, целостность значения, не выводимая из суммы значений составляющих их компонентов, и их метафоричность, раздельнооформленность, экспрессивно-эмоциональная окраска. Не говоря уже об еще одном общем признаке фразеологизмов, свидетельствующем об их целостности, – функционировании в роли единого члена предложения: *Злые языки* (подлежащее) объясняли ласковость матери тем, что она хотела *сбыть с рук* (сказуемое) золовку (С. Аксаков); Стояли прозрачные дни *бабьего лета* (дополнение) (Г. Марков); Но ведь все это *с лихвой* (обстоятельство) окупится во время путины (А. Чаковский); Это человек опытный, *себе на уме* (определение), не злой и не добрый (И. Тургенев).

Более узкое понимание фразеологизмов чаще всего сводится к признанию таковыми только идиом, т.е. фразеологических сращений и фразеологических единств. Например, В.И. Мокиенко в предисловии к "Словарю русской фразеологии" (историко-этимологический справочник) пишет: "В корпус словаря включены в первую очередь фразеологизмы в узком смысле слова, т.е. русская идиоматика и те интернациональные обороты, которые характеризуются относительной устойчивостью, воспроизводимостью в готовом виде, целостным значением и экспрессивностью". Однако у сторонников узкого, "идиоматического" подхода к фразеологии не прослеживается последовательность. Так, в продолжение приведенного высказывания о признаках фразеологизмами только идиом В.М. Мокиенко добавляет: "В справочник вошли также некоторые пословицы, устойчивые состав-

ные термины, номенклатурные словосочетания, перифразы и крылатые слова, которые либо в какой-то мере претерпели фразеологизацию, либо стали основой для образования фразеологизмов в узком смысле слова”. Например, *веселие Руси есть пити, лучшее враг хорошего, властитель дум, власть тьмы, зеленая волна, ничто не вечно под луной*.

Таким образом, теория “идиоматиков” при ее практической реализации, например, при составлении словарей, наталкивается на сопротивление конкретного материала, поддержанное различными экстралингвистическими факторами.

При всей несогласованности среди лингвистов в понимании фразеологизмов, при разном толковании семантики связанных словосочетаний и предложений, воспроизводимых в речи в фиксированном состоянии, вся их совокупность, имеющаяся в языке, называется фразеологией. Теперь обратимся к рассмотрению тех “пограничных зон”, составляющие которых не всегда и не всеми признаются фразеологизмами.

1. Пословицы и поговорки. *Пословица* – это “устойчивое в речевом обиходе, ритмически и грамматически организованное изречение, в котором зафиксирован практический опыт народа и его оценка определенных жизненных явлений. Выступает в речи (...) как самостоятельное предложение” (Русский язык. Энциклопедия. – Р.Я. Энц.). Например: *По одежке встречают, по уму провожают. Не родись красивой, а родись счастливой; С лица воды не пить*.

Поговорка – это “устойчивое в речевом обиходе изречение, образно определяющее какое-либо жизненное явление, прежде всего с точки зрения его эмоционально-экспрессивной оценки” (Там же). Например: *в тесноте, да не в обиде; одного поля ягода; в пух и прах*.

Различие между пословицей и поговоркой большая часть лингвистов видит в том, что пословица выступает в речи обычно как самостоятельное суждение, а поговорка – как фрагмент его и окончательное оформление получает лишь в контексте. Так, приведенные поговорки могут быть представлены только в предложении: *Эти дружки одного поля ягоды. Они разругались в пух и прах*.

И все же различия между многими пословицами и поговорками бывают настолько незначительными, что они часто отождествляются, а некоторые языковеды выделяют особый разряд пословично-поговорочных выражений. Одни слова в них употребляются в прямом смысле, другие – в переносном: *Мать и дочь – темная ночь*. Следовательно, пословично-поговорочные выражения совмещают в себе особенности пословиц и поговорок.

По отношению последних к фразеологизмам имеются различные точки зрения. Одни ученые признают пословицы и поговорки фразеологизмами на основании их устойчивости и воспроизводимости. Дру-

гие, не признавая устойчивость и восприимчивость в качестве категориальных признаков, выводят пословицы и поговорки за рамки фразеологизмов. Третьи решают вопрос компромиссно. Поговорки они относят к фразеологизмам, так как эти языковые единицы обладают не только устойчивым составом компонентов и воспроизводимостью, но и смысловой целостностью; будучи синтаксически нечленимыми, выступают в предложении, подобно словам, в определенной функции. Например: *Эти люди – одного поля ягода*, где выделенная курсивом поговорка выполняет роль сказуемого; на тебе *сошелся клином белый свет*, здесь поговорка выступает в роли главных членов предложения.

Пословицы же этими лингвистами не включаются в состав фразеологизмов, так как, обладая устойчивостью и воспроизводимостью, они ни семантически, ни синтаксически не являются целостными единицами. Так, пословица *Не место красит человека, а человек – место* представляет собой сложносочиненное предложение. Первая часть в нем является двусоставным полным предложением, в котором имеется подлежащее *место*, сказуемое *красит*, прямое дополнение *человека*; вторая часть – двусоставное неполное предложение с подлежащим *человек*, прямым дополнением *место* и опущенным сказуемым *красит*. Семантически и синтаксически делимы, по существу, все пословицы: *Не имей сто рублей, а имей сто друзей*; *Лучше поздно, чем никогда*; *В гостях хорошо, а дома лучше*; *По одежке встречают, по уму провожают*.

2. **Речевой штамп** (стандарт, клише) – это «стилистически окрашенное средство языка, которое создается говорящими как “готовая”, устойчивая и часто употребляющаяся формула» (Р.Я. Энци). Структурно стандарты могут представлять собой слово, словосочетание, предложение. Так, в советское время определение *всемирно-исторический* прибавлялось чуть ли ни к каждому решению партийных съездов.

В годы горбачевской перестройки была попытка замены набивших оскомину определений *исторический*, *всемирно-исторический* в отношении общественных явлений, связанных с деятельностью прежде всего КПСС, определением *судьбоносный*. Например: “Чем шире разворачивается перестройка, тем понятнее становится ее общий смысл и *судьбоносное* значение для социализма” (Правда, 1988). Определение *судьбоносный* в одно время стало весьма употребительным и даже стандартным, однако во второй половине 90-х годов произошел заметный спад в его использовании, оно стало значительно реже употребляться в средствах массовой информации, но все же встречается наряду с эпитетом *исторический*: “На международной арене наметилась устойчивая тенденция к разного рода коллективным образованиям – клубам, союзам, осям – и т.д., региональным, политическим, экономическим и прочим группировкам на высшем уровне,

претендующим на судьбоносные решения для стран и народов” (Российская газета, 1997).

В горбачевские же годы широко использовалось стандартное словосочетание *социалистический выбор*, употребление которого было связано с дискуссиями по вопросу дальнейшего развития политической и экономической системы страны: «Мы простились со зрителями фильмов о жизни советских шахтеров. Сняли 1100 минут – отобрали из них 80, но только правды. Это был наш некролог тому, что называют “социалистическим выбором”. Некролог системе, из поколения в поколение плодившей бесправных рабов» (Моск. новости, 1991).

“Отклики трудящихся” в газетах начинались так: “Я Пастернака не читал...” и т.д. Тем не менее, все критиковали непрочитанный роман, но, главное, требовали расписать писателя. И ставшие притчей во языцех “отклики трудящихся”, нередко готовившиеся в редакциях газет и журналов самими сотрудниками, и закрепившаяся в употреблении стереотипная фраза: “Я такого-то не читал, но” – это все наглядные примеры речевых стандартов, кочевавших по страницам тогдашней печати.

Речевые стандарты (штампы) чаще всего встречаются в деловых документах, где они нужны (*убедительно просим, учитывая вышеизложенное, в соответствии с законом, считаем нужным сообщить*) и в публицистике, где бывают излишни (*всемерно поддерживаем, охваченные единым порывом*). Однако употребляемые в этих стилях речи стандартные выражения могут переключиваться в обиходную речь носителей языка и получать в ней широкое распространение. Так, после известного постановления ЦК КПСС о борьбе с формализмом в музыке (1948 г.) в обиход вошли на какое-то время такие заимствованные из прессы речевые стандарты, как *безродный космополит, формалист проклятый*. В транспорте, очередях в те годы можно было услышать: “Эй, ты, заткнись, *космополит безродный*”, “Куда прешь, *формалист проклятый!*”. При этом люди, клеймившие формализм и космополитизм, часто впервые слышали эти слова и с трудом их выговаривали.

Большинство лингвистов речевые стандарты к фразеологии не относят, считая, что они, хотя и характеризуются устойчивостью и воспроизводимостью, не имеют важнейших признаков фразеологизма – семантической целостности и синтаксической слитности его компонентов. Только последние дают возможность словосочетанию выступать в роли единого члена предложения.

3. **Лозунги, призывы** не могут быть по тем же причинам отнесены к фразеологизмам. Между тем лозунги и призывы окружали советских людей начиная с 1917 г. со всех сторон. Приведем примеры: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”, “Да здравствует 7-часовой рабочий день – детище Октября”, “Планы партии в жизнь!”, “Безжа-

лостно раздавим презренных наймитов буржуазии из зиновьевско-троцкистской своры!”, “Пусть живет в веках имя и дело Ленина!”, Слава родному и любимому Сталину – вождю всех времен и народов!”.

С недавнего времени в употребление было запущено слово, заимствованное из английского языка, – *слоган*. Оно означает короткий лозунг, призыв, выражающий какой-либо взгляд или представляющий рекламу товара; сжатую, ясную и легко воспринимаемую формулировку рекламной идеи. Например: Её [финской компании] основной слоган “*По соседству – отличное качество!*”; Основной рекламный слоган компании “Think Different” (“*Думай иначе*”) призывает пользователей ПК [персональных компьютеров] “сменить ориентацию” (Из газет).

Слоган, как лозунг или призыв, характеризуясь устойчивостью и воспроизводимостью, в то же время не имеет семантической и синтаксической целостности, а потому его отнесение к фразеологизмам было бы также неоправданным.

4. Крылатые слова. В русистике для обозначения различных по структуре образных слов (*Иуда*) и устойчивых синтаксических конструкций (*пара гнедых, любви все возрасты покорны*), которые по происхождению связаны с каким-либо литературным источником или общественным деятелем, с середины XIX века употребляется термин *крылатые слова*, введенный немецким ученым Бюхманом в книге с аналогичным названием (1864 г.). Энциклопедия “Русский язык” к крылатым словам безоговорочно относит только “устойчивые изречения, появившиеся в языке из определенного литературного, публицистического и научного источника”, а также “высказывания исторических деятелей, получившие широкое распространение в речи”. В ЛЭС к крылатым словам тоже относят лишь афоризмы и сентенции, структурно равные предложению, что подтверждается и приведенными примерами типа *Быть или не быть – вот в чем вопрос*.

Возвращение к бюхмановскому пониманию крылатых слов можно проследить в работах С.Г. Шулежковой, в которых они являются предметом специального исследования. Признавая неразработанность терминологического аппарата крылатологии и опираясь на материал, извлеченный из широкого круга источников, автор вводит в научный оборот термин *крылатые единицы* как родовой для обозначения собственно крылатых слов (*Венера, Скалозуб*), а также крылатых выражений, структурно представляющих словосочетание (*пара гнедых*) и предложение (*Молодым везде у нас дорога*). Это определенный шаг вперед в разработке терминологического аппарата крылатологии.

Можно ли крылатые выражения относить к фразеологизмам? Думается, только ту ее часть, которая представлена словосочетаниями.

Они действительно являются устойчивыми словосочетаниями, имеющими переносное значение и употребляющимися в роли одного члена предложения, т.е. семантически и синтаксически неразложимыми. Например, *халиф на час* – это человек, наделенный или завладевший властью на короткое время; выражение восходит к арабской сказке с аналогичным названием из сборника “Тысяча и одна ночь”. Например, “Керенский между двумя жерновами, – не тот, так другой со-трет... Он *халиф на час* (М. Шолохов). *Летучий голландец* – легендарный образ капитана, обреченного вместе со своим кораблем вечно носиться по морю, не приставая к берегу; корабль этого капитана. Выражение является калькой с нем. *der fliegende der Holländer*, получило известность благодаря опере Р. Вагнера “Летучий голландец”: “Слышал от Коли о *Летучем голландце*, об этом вечном скитальце морей, с черными парусами и мертвым экипажем” (А. Куприн). В первом из приведенных предложений *халиф на час* выступает в роли сказуемого, во втором предложении *Летучий голландец* – в роли дополнения.

5. Несколько особняком от рассмотренных типов синтаксических конструкций, близких по тем или иным признакам к фразеологизмам, стоят составные наименования, большинство из которых является терминами. Особенность им придает то, что они, как правило, лишены экспрессивно-оценочных свойств, будучи обычно стилистически нейтральными. В этом отношении они более всего сходны с фразеологическими сочетаниями типа *оказать влияние, принять решение*. Некоторые лингвисты различают в них все четыре разновидности фразеологизмов, выделенных в свое время академиком В.В. Виноградовым: так, составные термины “*кесарево сечение и железная дорога* являются (как семантически немотивированные и безобразные) фразеологическими сращениями; *белый гриб и слепая кишка*, обладающие образностью, являются фразеологическими единствами; *фрикативные звуки и вопросительный знак*, включающие в свой состав слова с фразеологическим значением, являются фразеологическими сочетаниями, а *политическая экономия и социалистическое соревнование*, значение которых равно сумме значений образующих их слов, – фразеологическими выражениями” (Цит. по: Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. М., 1985. С. 64).

Конечно, ряд составных терминов, компоненты которых по степени семантической спаянности аналогичны составляющим фразеологизмы, может быть продолжен: *беглые гласные, косвенная речь, красная строка, одушевленные существительные; божья коровка, анютины глазки* и т.д. Однако хотим обратить внимание на то, что основная масса составных терминов (а их насчитывается в настоящее время десятки тысяч в разных науках) образуется не за счет развития в них “образного стержня”, а посредством расширения производящих терминов распро-

странителями, присоединенными к ним справа или слева, что ведет не просто к дифференциации значения этих терминов, а к сужению, детализации первоначальных понятий, обнаружению в них новых отличительных черт, обозначению новых сущностей. Например, *деятельность: брокерская деятельность, депозитивная деятельность, дилерская деятельность, деятельность по ведению и хранению реестра акционеров, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг* и др. Все приведенные составные наименования являются терминами и имеют в федеральных законах официальные дефиниции.

Следует добавить также, что главной функцией составных наименований – в отличие от собственно фразеологизмов – является не эмоционально-оценочная, а номинативная. Составные наименования используются в большинстве случаев для называния новых предметов и явлений, открываемых человеком в процессе познания окружающей действительности, что не просто сближает их с обычными словами (однокомпонентными терминами), но и приравняет двухкомпонентные и многокомпонентные наименования по целостности семантики и синтаксической роли к однокомпонентным. Все это свидетельство того, что составные наименования такого рода должны рассматриваться в составе не фразеологии, а лексики.

Обобщая сказанное, можно констатировать, что понятие фразеологизма в науке неоднозначно и даже противоречиво. Сам термин может пониматься в узком и широком смысле. В узком понимании фразеологизмы включают только идиоматику – фразеологические срращения и фразеологические единства. В *расширенном* понимании сюда входят также фразеологические сочетания, поговорки и крылатизмы в форме словосочетания. В группу *собственно фразеологизмов* их объединяют четыре признака: лексическое (фразеологическое) значение, компонентный состав, лексико-грамматическая соотнесенность с частями речи, способность выступать в роли одного члена предложения. Однако для наиболее типичных из этих фразеологизмов характерны также устойчивость, хотя и относительная, воспроизводимость, возможность структурных вариантов, экспрессивно-оценочная окрашенность.

К фразеологизмам в *самом широком* понимании этого слова, кроме перечисленных разрядов, могут относиться пословицы, речевые стандарты (штампы, клише), лозунги, призывы и слоганы, а также крылатизмы в форме предложений и составные наименования, обладающие образным стержнем.

Вследствие различий в понимании фразеологических единиц, их рассмотрение в лингвистических работах должна предварять оговорка, конкретизирующая это понимание данным автором. Дабы не запутывать и без того сложный путь к познанию этого языкового явления.



СКАЗАТЬ ИЛИ УМОЛЧАТЬ?

Е. П. СЕНИЧКИНА,
кандидат филологических наук

“Не надобно всё высказывать —
это есть тайна занимательности”

А.С. Пушкин

В старой русской поэтике умолчание рассматривалось как фигура речи. В настоящее время большинство ученых под умолчанием понимают недосказанность. В разговорной речи говорящие издавна употребляют средства выражения значения умолчания. Ведь не обо всяком предмете можно толковать прямо, без обиняков. Деликатные темы разговора, речь о неприятных для собеседника сведениях, необходимость сообщить что-то отрицательное о человеке или событии, которое является сверхценностью для говорящего, — всё это порождает намеки, недомолвки, умолчания. Вспомним, как в романе Ф.М. Достоевского “Идиот” отец Аглаи, генерал Епанчин, пытается охарактеризовать будущего жениха дочери, князя Мышкина: “Ведь в сущности что ж?...” (умолчание); “Конечно, все это очень странно, если только правда, и что он не спорит, но...” (опять умолчание). Приведенный пример наглядно показывает функцию значения умолчания: говорящий прерывает речь из-за смущения, неловкости, нежелания прямо выразить свою оценку.

Значение умолчания является характерной чертой языка политики и публицистики. Российские писатели XIX века разработали особый вид речи — эзопов язык. “Эзоповский язык — это лишь особая форма риторической структуры, рассчитанная на игру *намеками* и *недомолвками*, которая мотивируется своеобразным социально-политическим табу” (Виноградов В.В. О языке художественной прозы. М.,

1980. С. 168). Ср. также определение эзоповского языка М.Е. Салтыковым-Щедриным в “Недоконченных беседах”: “Создалась особенная, рабская манера писать, которая может быть названа эзоповскою, – манера, обнаруживавшая замечательную изворотливость в изобретении оговорок, *недомолвок, иносказаний* (везде выделено нами. – Е.С.) и прочих обманных средств (...) Ясная речь уместна там, где уже нарядился читатель, которого страшными словами не удивишь”.

В художественной речи значение умолчания способствует возникновению у адресата речи широких возможностей при сопереживании, домысливании недосказанного, для создания условий сотворчества (Акимов О.Б. Семантика неизвестности и средства ее выражения в русском языке. М., 1999. С. 27–28). В первой половине XIX века писатели обнаружили, что умолчанием, недосказанностью говорящий может выразить больше, чем словами. А.С. Пушкин разработал новые, оригинальные приемы выражения душевной жизни, вытекающие из приемов изображения, основанных на умолчаниях. Такой прием умолчания В.В. Виноградов охарактеризовал как “изображение предмета, действия посредством называния сопутствующих явлений или сразу результатов событий” (Виноградов В.В. Стилль Пушкина. М., 1941. С. 65).

Значение умолчания нередко содержит в своей семантической структуре компонент намек, который всегда имеет материальное воплощение. Он может содержаться в слове, внутрилексемно, как например, при употреблении высказывания с неопределенным местоимением, имеющим аффикс *кое-*: “А у меня для тебя *кое-что* есть!” (намек: *догадайся, что!*). Признак намек может быть представлен описательно, например, с помощью вводной конструкции или предложения в составе сложного предложения, может быть выражен паралингвистическими средствами (подмигиванием, особой, намекающей интонацией, приподниманием бровей и т.п.). Пример намекающей интонации и акцентированной паузы: “Хоронили тещу – порвали баян” (анекдот). На намек может быть нацелена рифма, например, в детских загадках: “Кто подарки вам принес? Ну, конечно, – ...” (рифмующаяся отгадка: *Дед Мороз*).

Язык накопил немало средств выражения значения умолчания. Семантику умолчания передают не только слова, но и средства разных уровней языка. Так, выделяются **фразеологические** (*оставлю при себе, не считаю нужным называть, не говоря о... и т.п.*); **морфолого-синтаксические** (конструкции односоставных предложений), неполные предложения; **лексико-синтаксические** (*не назову, не хочу назвать и т.п.*), **графические** средства, несущие дополнительную информацию (знаки препинания, кавычки, курсив, разрядка, написание с прописной буквы).

Предпринятый нами языковой анализ показал, что все средства семантики умолчания обладают некоторой смысловой неполнотой, се-

мантической редукцией. Это их отличительное качество. Доводом в пользу обоснования данного наблюдения являются средства, выделяемые на **лексико-синтаксическом уровне.** Речь идет о модели односоставных предложений, которая своими морфологическими и структурно-синтаксическими средствами представляет событие, связанное с идеей неопределенного субъекта (Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. М., 1986). Иными словами, в односоставных предложениях семантической редукции подвергается синтаксическое лицо. Приведем примеры использования модели односоставного предложения в качестве средства выражения семантики умолчания: “[О казни] *Было назначено* в половине десятого – и совершенно правильно: всякий культурный человек должен иметь время побриться и позавтракать, и в том, что назначено было в половине десятого, только сказывалось уважение одного культурного человека к другому – хотя бы и преступному” (Замятин. Островитяне); “Владислав чистит двор, гумно и пр. после ушедшего наконец Егора, с которым *поступлено непреклонно*, насколько я только способен” (Из письма А. Блока матери. 1910 г.).

Значение умолчания выражают слова, выполняющие в речи функцию эвфемизмов (слов или выражений, служащих в определенных условиях для замены таких обозначений, которые представляются говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, слишком резкими). Функцию эвфемизма выражают разные части речи: 1) глаголы, обозначающие неполноту действия: Он *недослышит* (о глухом), Он *прихрамывает* (о хромом); 2) прилагательные, передающие слабую степень свойства: Она *полновата*; 3) существительные с наиболее общим значением: *дело, вещь, предмет, человек.* Так, Раскольников, замыслив убийство, все же не решается назвать это действие прямо, и даже мысленно он называет убийство словами *проба, дело*; 4) звуко-подражательные слова. Например, в разговорной речи: *ку-ку* в значении “ненормальный, со странностями”, *тю-тю* – “пропасть”: “– Мама, а почему его отчислили из школы? – Ну, это долгая история. – А я знаю! Потому что у него мама – *ку-ку*!” (Разг. речь); Женщина сказала: “Машина взорвалась, и еще три загорелись. Парень в нее сел, и *тю-тю...* ничегошеньки не осталось” (Полякова. Мой любимый киллер); 5) местоимения: *ничего, это, один*: “Мне в *одно место надо*” (в уборную); “Как у вас с *этим* делом?” (с выпивкой); “Про *это*” (название телепрограммы) (Л.П. Крысин. Иноязычное слово в роли эвфемизма // РЯШ. 1998. № 2. С. 73).

Рассмотрим подробнее местоимения в функции эвфемизмов как средство выражения семантики умолчания.

Местоимения и местоименные наречия удобно употреблять в качестве умолчания, поскольку как часть речи эти слова обладают смысловой неполнотой, неопределенностью: “[Разговор с убийцей] – Не

ужели вам не страшно и не жалко было? – спрашивал Нехлюдов. – Ничего не жалко, до самой до *нее*. До кого? – До этой самой свояченицы Малаховской” (Л. Толстой. Воскресение; черновые редакции и варианты). В приведенном примере адресат речи Нехлюдов не сразу понимает, о ком говорит преступник. А.И. Зарецкий заметил: “остроумно сравнивают иногда отношение местоимений к местоименным словам с отношением геометрического тела к физическому” (Зарецкий А.И. О местоимении // РЯШ. 1940. № 6. С. 17). Но ведь геометрическое тело в отношении физического, несомненно, обладает **редукцией** многих признаков. Именно поэтому местоименные слова являются распространенным средством выражения семантики умолчания.

Местоимения в качестве средств семантики умолчания характеризуются употреблением в функции других частей речи (местоименного существительного, местоименного предикатива).

Так, местоимение 3-го лица субстантивируется, употребляясь в значении существительного. В академической “Русской грамматике” приводятся примеры употребления местоимения 3-го лица в значении “возлюбленный (возлюбленная)”. Например: “Ты чуть вошел, я вмиг узнала, / Вся обомлела, запылала / И в мыслях молвила: вот *он*!” (Пушкин. Евгений Онегин). “Местоимение *он* может замещать собой название лица, а также название какого-либо существа (животного, человека), упоминание которого по тем или иным причинам нежелательно или запрещено (таковы слова *неприятель*, *враг*, а также *чёрт*, *дьявол*, *нечистая сила*)” (Русская грамматика. М., 1982. Т. 1. С. 533). Приведем пример языкового эвфемизма, указывающего на нечистую силу”: “Слез я, иду за саями, а он шепчет: “Ты что же делаешь?” (Л. Толстой. Воскресение). Другим использованием местоимения 3-го лица в качестве средства семантики умолчания является эвфемистическое обозначение Бога: “Зачем сказала ты.../ – Надо! *Он* велит смириться, – говорила старуха, указывая на небо” (Гончаров. Обрыв).

Нередко возвышенным для говорящего, а следовательно, и табуируемым оказывается обозначение главы государства – *он*: “Конечно, если бы *он* в своей речи прямо тебя поддержал, – считай себя завтра уже подполковником. Впрочем, и так, чем чёрт не шутит! На таком совещании слово дали, е *г о*, – он с ударением произнес это местоимение, – внимание привлёк, шутка ли!” (Чаковский. Блокада).

Особым приемом выражения семантики умолчания является переносное употребление *он* в значении “я”. Примером может служить разговор Сони и Раскольникова об убийце: “Нашли, что ли, его? – робко спросила она. Нет, не нашли. – Так как же вы про это знаете? – опять чуть слышно спросила она (...) – Стало быть, я с *ним* приятель большой... коли знаю, – продолжал Раскольников” (Достоевский. Преступление и наказание).

Местоимение *оно* в функции существительного как средство выражения семантики умолчания употребляется в значении “нечто непо-

нятное, враждебно страшное”: “Оно близились, и по мере того как близились, время останавливало свой бег. Наконец земля затряслась, солнце померкло... глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца. Оно пришло” (Салтыков-Шедрин. История одного города); “И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит оно” (Л. Толстой. Война и мир). Ср. пример из современной публицистики: «Мы подошли к краю пропасти. Беда (наркомания. – Е.С.) стала настолько всеобщей, что теперь уже никто не может быть уверенным в полной мере в безопасности – своей и своих близких. А между тем большинство почему-то уверено, что ужасное “оно” где-то там, далеко» (Самарская газета. 2001. 4 апр.). Употребленное в качестве средства выражения семантики умолчания, местоимение 3-го лица не имеет соотносительного существительного в предшествующем тексте.

Активно употребляются в речи в качестве средства выражения значения умолчания указательные местоимения и наречия: *это, тот, та, там, туда, тогда* и т.п. В романе “Преступление и наказание” задуманное, а затем осуществленное убийство Раскольников, а вслед за ним и другие персонажи косвенно именуют местоименным эвфемизмом *это*: “Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на *это*? Разве *это* серьезно?”; “[Разумихин] Ты говоришь, что вопрос о рабочих был подвох? Раскуси: ну если б *это* ты сделал, мог ли б ты проговориться, что видел, как мазали квартиру... и рабочих?”; Дуня под *этим* понимает “гнусное подозрение в убийстве”: “Матери про *это* ничего не расскажу, но буду говорить о тебе беспрестанно”. Раскольников не смог оправдать свой поступок. Противостояние его личности убийству выражается, в частности, в том, что он так и не может прямо не только говорить, но даже думать о совершенном преступлении.

Условное обозначение любви с помощью эвфемистического местоимения *это* является распространенным художественным приемом. В.В. Виноградов приводит примеры такого употребления слова *это* А. Ахматовой: «Мальчик сказал мне: “как *это* больно!” / И мальчика очень жаль» (Чётки). Загадка дана. Что обозначает “*это*”, не ясно никому, кроме мальчика и героини. Но вот в заключении стихотворения Ахматова открывается то, что “знает”, и – любопытно – в форме дополнения к **приложению**, на этот раз связанному с символом “боль”. (Ср.: как *это* больно): “Я знаю: он с болью своей не сладит. / С горькой болью первой любви” (Виноградов В.В. О поэзии Анны Ахматовой // Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 446). Если в начале XX века местоимение *это* эвфемистически замещало слово *любовь*, то в конце века оно стало преимущественно обозначением интимных отношений (См. название широко известной книги В. Шахиджаняна “Сто вопросов про *это*”).

Указательные местоимения имеют общий для всех местоимений своего разряда компонент отдаленности (Головенкина Л.Х. Семанти-

ка местоимения 3-го лица в сопоставлении с указательными местоимениями (явление синонимизации): АКД. Орёл, 1991. С. 16). На базе признака отдаленности у указательных местоимений развивается значение чуждости. Говорящий, касаясь неприятных тем, употребляет указательные местоимения, демонстрируя отчужденность или превосходство отправителя речи перед адресатом, как бы отстраняя от себя объект высказывания.

В качестве средства выражения семантики умолчания высокой частотностью обладает местоименное наречие *там*. Так, переносное употребление слова *там* в значении “потусторонний, загробный мир” составляет переходную ступень к образованию его нового значения: «Иудушка взял деньги, похвалил мужичка и сказал, что он три целковых на маслицо для “унеугасимой” отдаст. – И ты, дружок, будешь видеть, и все будут видеть, а душа покойного радоваться будет. Может, он что-нибудь и вымолит *там* для тебя!» (Салтыков-Щедрин. Господа Головлёвы). Значение потустороннего, загробного мира у местоимения *там* закрепились в выражении “все там будем”; “В народе говорят: *все там будем*. Все! И передовики производства, и бездельники, и благородные люди, и подлецы” (Аксенов. Коллеги).

Указательное наречие *туда* может участвовать в создании атмосферы таинственной и страшной неопределенности, где средства семантики умолчания служат сигналом того, что говорящему страшно выговорить, а может быть, и прямо подумать об описываемой ситуации. Приведем пример, где все местоименные слова являются средствами семантики умолчания и графически выделены автором романа: “Векшин опять взглянул на часы и опять подумал, что *т у д а* еще рано, что *т а м у н и х* еще не *н а ч и н а л о с ь*” (Леонов. Вор). Лишь из контекста становится ясно, что речь идет о готовящемся среди воров убийстве.

Наречие *тогда* как средство семантики умолчания замещает собой целую ситуацию, которую говорящий по каким-то соображениям не может назвать прямо. И здесь всегда присутствует компонент намека; “[Глава тайной политической полиции разговаривает с Брауном] – Вы помните, Диоген Лаэртский говорил: все ощущения равноценны по качеству, дело лишь в их остроте... Ведь это, кажется, ваш любимый философ? Его книга и *т о г д а* у вас лежала на столе. – И тогда? – переспросил Браун. – Когда? Да, лежала... – Он нахмурился. – А вам откуда это известно?” (Алданов. Ключ).

Указательное местоимение *тот* характеризуется высокой частотностью в качестве средства выражения семантики умолчания в функции существительного. Нередко оно сопровождается отрицательной коннотацией. Такой прием можно назвать двойным средством выражения значения умолчания – местоименного способа наименования и использования местоимения в функции существительного: «[Речь

Порфирия Головлёва о своей экономке, ожидающей от него ребенка] Теперь он уже смотрел на предстоящие роды как на дело, до него не относящееся, а потому и самому лицу своему постарался сообщить выражение бесстрастное и непроницаемое. Он почти игнорировал Евпраксеюшку и даже не называл ее по имени, а ежели случалось иногда спросить об ней, то выражался так: “А что *та*... все еще больна?”» (Господа Головлёвы).

Значение умолчания передают и отрицательные местоимения и наречия. Например: “Дай Бог только, чтобы князь Кутузов, – сказала Анна Павловна, – взял действительную власть и не позволял бы *никому* вставлять себе палки в колеса... Князь Василий тотчас понял, кто был этот *никому*. Он шепотом сказал: – Я верно знаю, что Кутузов, как не-пременное условие, выговорил, чтобы наследник-цесаревич не был при армии” (Л. Толстой. Война и мир). Выражает значение умолчания предикатное местоименное наречие *ничего*, употребляемое в качестве безличного сказуемого как форма сдержанной похвалы, одобрения, комплимента: “У тебя женка-то *ничего*” (В. Белов). (О функционировании местоименного наречия *ничего* см.: А.Г. Балакай. Что мы говорим, когда говорим “ничего...” // Русская речь. 2000. № 4)

Для неопределенных местоимений с приставкой *кое-* в словарях и лингвистической литературе выделяется “заговорщическое” значение: когда говорящий, не называя объекта, на самом деле рассчитывает на то, что слушатель понимает, о ком (чём) идет речь (Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985. С. 213). У неопределенного местоимения *кое-что* встречается значение “умолчать, скрыть от посторонних предмет речи, намекнуть на его важность для собеседника”: “[Продавец в магазине (понижает голос)]: Приходи завтра, *кое-что* будет”.

Другое неопределенное местоимение *некоторый* дает эффект нарочитого умолчания, намеренного отказа от характеристики (Кузьмина С.М. Семантика и стилистика неопределенных местоимений // Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект. Суперсегментная фонетика. Морфологическая семантика. М., 1989. С. 206). Семантика умолчания возникает в сочетании *некоторый* со словами, обозначающими деньги: “Тогда старуха сказала, что она вышла из того возраста, когда орут, и что она без оранья скажет всем и каждому, что Былинкин за это время у них обедал три раза и не потрудился даже ради любезности предложить *некоторую* компенсацию хотя бы за один обед” (Зощенко. О чём пел соловей).

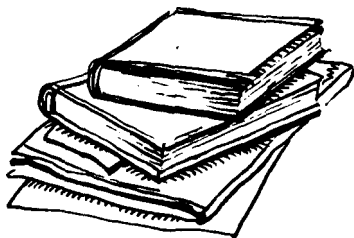
Для местоимения *некоторый* в словарях выделяется значение “незначительный”. Компонент незначительности позволяет использовать это местоимение для косвенного обозначения отрицательной оценки, для смягчения отрицательного оттенка определяемого слова:

“Хотя он из старой дворянской семьи, но его узкая профессия наложила на него *некоторый* отпечаток” (Набоков. Защита Лужина); “О причинах такого решения тренер ответил довольно уклончиво, сообщив лишь, что Юлии необходимо отдохнуть от накопившегося за последнее время стресса. Если честно, то такой поворот событий тоже вызывает *некоторое* удивление” (Рос. газ. 2002. 18 мая).

Местоимение *некоторый* выражает семантику умолчания, когда оно выступает в роли существительного, особенно во множественном числе: “Ну, это я, – женщина деловито подбоченилась. – Чего надо? Если вы счетчик пришли проверять, то я вам сразу скажу, что никаких штучек мы туда не вставляли, как *некоторые* из дома напротив” (Серова. Привет с того света); «У меня новенький “Фольксваген”, я отвалила за него огромные деньги, но он того стоит. Мышильда перевела взгляд с меня на машину и тяжело вздохнула: – везет же *некоторым*. – Это кому же? – усмехнулась я, устраиваясь за рулем» (Полякова. Сестрички не промах).

Завершая обзор средств выражения значения умолчания, заметим: умолчанием говорящий может высказать не меньше, а подчас и больше, чем словами.

Самара



ИЗ ИСТОРИИ НЕДАВНИХ НЕОЛОГИЗМОВ

А. Н. ШУСТОВ

Три–четыре десятилетия назад в русском языке появилась группа неологизмов, которые довольно быстро прижились. Те, кто тогда были школьниками и росли вместе с этими словами, естественно считают, что они существовали чуть ли не всегда. Сегодня хочется напомнить начальную историю некоторых из этих слов.

Акселерация, акселерат. Эти термины восходят к латинским *accelerare* – ускорять, *acceleratio* – ускорение. Отсюда, кстати, встречающаяся иногда более точная фонетическая передача их на русском: *акЦелерация*. Словарь новых слов и значений по материалам прессы и литературы 1970-х годов приводит ранние случаи употребления этих слов, относящиеся к началу 1970-х годов. Однако появились они в русском языке раньше.

Одной из первых публикаций на эту тему в массовой печати, своеобразной точкой отсчета, следует считать статью ученого-биолога В. Властовского “Акселерация – одна из загадок XX века” в журнале “Наука и жизнь” № 12 за 1966 г. В этой статье впервые обстоятельно говорилось об акселерации не в значении технического термина (например, автомобильный *акселератор*), а именно как о биологическом явлении. При этом довольно подробно вскрывались возможные причины акселерации современных подростков.

Названная статья, видимо, тогда же послужила “научной основой” для поэта Роберта Рождественского, автора стихотворения “Аксельраты, аксельратки...”. Легко обнаружить параллельные места в статье и в стихотворении: несоответствие мышечной силы и психологических функций организма, причины акселерации, беспокойство школы и даже ссылка на кастовые и расовые барьеры. Сравним тексты:

В. Властовский:

...дети Москвы... наряду с увеличением роста и веса тела дают и более высокие показатели силы сжатия кисти...

Воспитателей и педагогов интересует, насколько ускорению роста и полового созревания соответствует акселерация функционального и психического развития детей.

Р. Рождественский:

Силой мышечной богаты, бродят ... малолетние гиганты, рост которых – не по разуму. Школа стонет, не поверив, зычным ревом переполненная ... Рядом с безопасной бритвой оловянные солдатики. Сигареты рядом с куклой.

По этому поводу высказано множество гипотез:

о влиянии на ускорение роста и развития усиленной витаминизации матери и ребенка...

о стимулирующем влиянии на рост и развитие детей электромагнитных колебаний...

Под натиском культуры рушатся расовые, кастовые и религиозные барьеры...

Доконали, утомили краснобаи именитые...

Виноваты витамины?

Или сполохи магнитные?

А планета ждет подсказки, бредит кастами и расами, у прогресса рост гигантский.

С легкой руки популярного советского поэта неологизмы *акселерация*, *акселерат*, *акселератка* прочно вошли в языковой оборот. Их закреплению способствовали многочисленные газетно-журнальные публикации. В 1970—80-х годах возникли производные новообразования: *аксельрант* (В. Амлинский. "Нескучный сад"), *акселерироваться* (Литгазета. 1983. 3 авг.), *акселерированный* (Химия и жизнь. 1970. № 9); уменьшительно-ласкательные: *акселераишка* (Литгазета. 1975. 19 марта) и *акселератик* (Литгазета. 1977. 24 авг.); просторечное – *аксель* (Литерат. Россия. 1979. 12 янв.) и др.

Сенаж. Это странное словечко, подлинный гибрид "французского с нижегородским", родилось где-то в середине 1960-х годов. Так стали тогда называть новый вид сочных кормов, сочетающих в себе свойства сена и силоса – подвяленную и спрессованную траву. В 1970-х годах это был один из самых распространенных и широкопропагандируемых кормов. Благодаря активности употребления *сенаж* быстро вошел в языковой оборот, дал несколько производных (*сенажировать*, *сенажирование*...) и оказался включенным в словарь новых слов и значений (1971). О нем была статья и в "Русской речи" (1976. № 3).

Что же представляет собой *сенаж* с лексикографической точки зрения? Формально считается, что это – новообразование от основы *сен-* с использованием французского суффикса *-аж*.

Действительно, в современном русском языке существует довольно большая группа существительных, в основном, иноязычного происхождения, образованных с помощью названного суффикса. Слова этой модели имеют различные значения, которые можно разделить на четыре группы:

1. занятие лица (*бракераж*, *подхалимаж*...),
2. действие по глаголу (*монтаж*, *пилотаж*...),
3. единица измерения (*листаж*, *метраж*, *процентаж*...),
4. совокупность однородных предметов (*плюмаж*, *трикотаж*...).

С помощью этого суффикса образуются и собирательные понятия, характеризующиеся принадлежностью к лицу, явлению, материалу, названным мотивирующим словом (*багаж*, *дренаж*, *фураж*...).

Легко заметить, что *сенаж* не подходит ни под одну из перечисленных групп. Основа его – *сено* – древнейшее общеславянское существительное, образованное с помощью праславянского суффикса *-но* (ср. старинные слова с родственными суффиксами: *-но*, *-ьно*, *-ьно*: *дно*, *зерно*, *бревно*, *судно*, *пятно*, *окно*...). Свыше тысячи лет существует *сено* в русском языке для названия корма из сухой травы. Ныне оно имеет около трех десятков производных и в том числе входит в состав сложных слов. Как видим, оно было использовано и для образования нового слова – *сенаж*.

Активную роль в создании неологизма *сенаж* сыграли следующие обстоятельства: продуктивность суффикса *-аж* в специальной терминологии (слова 3-й группы), в разговорной речи и в окказионализмах (слова 2-й группы: *халтураж*, *резерваж*, *мандраж*...), а также близость самих понятий: “сушеная трава” и “вяленая трава”. Старейшее слово, по мысли его изобретателей, зазвучало современно и “научно”. Однако при этом получилось усиление состояния благодаря объединению (контаминации) двух практически однозначных суффиксов *-но* и *-аж* (при этом неясно, в чем же заключается “собирательность” *сенажа* по отношению к мотивирующему *сену*). Это равнозначно тому, например, как если бы мы преподавателя стали называть словом “учительщик”. Поневоле вспоминаются слова А.П. Сумарокова: “Что очень хорошо на языке французском, то может скaredно во складе быти русском”.

Интересен параллельный пример балтийской группы языков, входящих в нашу общую индоевропейскую языковую семью. В латышском языке *сенажу* соответствует *skābsiens* (силосо-сено, квашеное сено), в литовском – *šienainis* (одно из значений суффикса *-ain* – образование названий пищевых продуктов; в данном случае новое слово означает по-литовски нечто вроде “сенного полуфабриката”, “недоделанного сена”). В обоих языках новые слова построены в строгом соответствии со своими грамматическими нормами, а исходное *s(š)ien* (сено) не подверглось усечению.

Русский *сенаж* вряд ли можно отнести к числу удачных изобретений, поскольку он образован чисто механически, посягая на незабываемость древнейшего, фундаментного слоя языка; заслоняя и как бы заменяя (“ломаая”) слово *сено*.

Необходимо отметить еще, что через русский язык *сенаж* проник и в братские языки: украинский (*сінаж*) и белорусский (*сянаж*). Принцип создания их абсолютно идентичен русскому. Сейчас, когда сельхозсводки на страницах газет стали редкими, слово *сенаж* также встречается не столь часто, как раньше. Но изъять из языка его уже невозможно.

Универсам. 27 сентября 1970 г. газета “Правда” писала: “Что такое универсам? Этого слова нет в словарях, и в обиходе оно появилось

только-только". В марте 1972 г. "Литгазета", отвечая на письма читателей, рассказала и о "совсем новом" слове *универсам*, отдав ему предпочтение перед западным *супермаркетом*, одно время замелькавшим было на страницах газет. Тогда же недолго были в ходу и другие варианты: *супермаг*, *гипермаркет*...

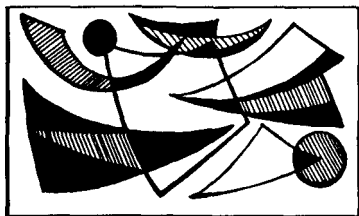
Слово *универсам* появилось в отечественной прессе в начале 1969 года. Ранее подобных торговых гигантов в СССР попросту не было, хотя о них знали и разрабатывали отечественные проекты. Для названия таких магазинов наряду с *супермаркетом* (из западной литературы) использовались и другие слова, которые можно рассматривать как своеобразную предысторию слова *универсам*: "*Сверхсам* – так польские друзья называли новый варшавский магазин самообслуживания" (Неделя. 1964. № 23); "*Суперсамы* примут покупателей" – заглавие заметки о первых гигантских продовольственных магазинах самообслуживания в Ленинграде (Строительный рабочий. 1970. 23 мая).

Универсам прижился в языке не сразу. Тогда, в начале 1970-х годов, у него были и противники, которые считали, что нельзя составлять новые сложносокращенные слова из слов, которые уже сами по себе являются сложными: *универ-маг* + *само-обслуживание*. На появление неологизма по горячим следам откликнулась и "Русская речь" (1975. № 4).

Со временем, однако, именно термин *универсам* был принят (отобран) народом, прижился в языке и в свою очередь послужил моделью для аналогичных названий: "...в Новокузнецке создано хозрасчетное предприятие *универбыт*. Оно возьмет на себя сбор всех заказов населения" (Правда. 1975. 24 авг.); "*Универбыт*" – так называются многоэтажные, оборудованные по последнему слову техники дома быта" (Работница. 1976. № 4). Промелькнул даже окказионализм с явными элементами пародии: "В городе Новинске недавно открылся ювелирный магазин самообслуживания – *ювелирсам*" (Литгазета. 1973. 8 авг.).

Сегодня с развитием мелкорозничной торговли владельцы обычных ларьков нередко солидно именуют их *минимаркетами*... Но и привычные *универсамы* пока еще не вышли из употребления.

Санкт-Петербург



ФИНАНСОВАЯ МЕТАФОРА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

А. П. ЧУДИНОВ,
доктор филологических наук

Современная лингвистика рассматривает метафору как основную ментальную операцию, как способ познания, структурирования, оценки и объяснения мира. Человек не только выражает свои мысли при помощи метафор, но и мыслит метафорами, познает при помощи метафор тот мир, в котором он живет, а также стремится в процессе коммуникативной деятельности преобразовать существующую в сознании адресата языковую картину мира.

Специфика современной российской финансовой метафоры во многом связана с особой ролью сферы-источника: накопление “политического капитала” невозможно без получения финансовых ресурсов, в результате чего финансовая метафора оказывается лишь отчасти метафорой. Как показали американские специалисты (Дж. Лаккофф, М. Джонсон. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990), подобная метафора очень характерна для политической коммуникации в Соединенных Штатах, где отношения между людьми, организациями и государствами издавна метафорически обозначаются как товарно-денежные.

Финансовая метафора издавна используется и в русском политическом языке (обвинения в “продаже России” достаточно традиционны), однако в последние годы подобные образы заметно активизировались. Эта активизация, видимо, связана с усилением роли товарно-денежных отношений в новых социальных условиях и повышением уровня хотя бы минимальной экономической эрудиции у наших граждан, большинство из которых еще 15 лет назад понятия не имели о вaucерах, конвертации, дефолте, отмывании денег и прочих капиталистических премудростях. Иначе говоря, в настоящее время исходная понятийная область детальнее структурирована в национальном сознании, а это очень важно для развёртывания всякой модели.

Вторая причина активизации рассматриваемой модели – это ее широкие возможности для формирования эмоциональных смыслов, связанных с агрессивностью, опасностью, нарушением нравственных норм и традиций, что очень важно в период обострения социальных взаимоотношений в обществе. Показательно, что представленный далее анализ фреймов рассматриваемой модели свидетельствует, что финансовая метафора в политической речи чаще всего связана с тем, что традиционно осуждается в народном сознании.

Активное использование финансовой метафоры при оценке политической реальности – это один из способов манипулирования общественным сознанием. Как известно, при подсчете финансовых дивидендов не учитываются нравственные аспекты деятельности (еще в Древнем Риме было замечено, что “деньги не пахнут”). Соответственно активное использование финансовой метафоры способствует элиминации нравственной составляющей при оценке политической деятельности.

В цивилизованном обществе традиционно выделяются моральные ценности, которые максимально удалены от финансовой сферы, – честь, достоинство, честность, репутация, справедливость. Как писал А.С. Пушкин: “Не продается вдохновенье”, продать можно только рукопись или, добавим, иной результат труда. Общество признает безнравственной даже саму попытку определить цену, за которую можно было бы приобрести честь или совесть того или иного человека, в том числе депутата или пратильственного чиновника. Однако в последние годы “продажная” метафора все чаще используется в политической речи, то есть наблюдается превращение рассматриваемой модели в доминантную, отражающую существенные особенности современной политической речи.

Рассмотрим систему фреймов финансовой метафоры в современной политической речи.

1. “Деньги (капитал) и товары”.

Политический авторитет, политические возможности человека или организации нередко метафорически обозначают как капитал, при использовании которого можно ожидать получения дохода (дивидендов), тогда как неразумная финансовая политика грозит банкротством. В некоторых случаях необходима конвертация имеющихся средств: “Грех не воспользоваться снятием с эфира и под шумок не сколотить себе приличный *капиталец*” (М. Рязанцев); “Всю реальную политическую *прибыль* от такого симбиоза получают только верхние этажи КПРФ, они же ее и делят” (К. Сергеев); “Советник президента вообще заговорил о *банкротстве* либеральной экономической политики” (С. Михайлов).

В экономической терминологии товар – это продукт труда, произведенный для продажи. В современной политической речи в качестве товара метафорически могут быть представлены авторитет политика

(или партии в целом), его голос в парламенте, честь, совесть и другие пользующиеся спросом качества. “Политические товары” иногда служат предметом экспорта или импорта: “Задача этих партпревращений проста: всучить избирателям *гнилой товар...*” (А. Лучников); “Поддерживать столь неперспективного кандидата – это бездумное *разбазаривание политических ресурсов*” (В. Андреев); “Наши солдаты не должны умирать во имя *экспорта революции*” (В. Костиков).

Вслед за приватизацией средств производства и иной государственной собственности наиболее активные олигархи стремятся приватизировать и государственную власть: «Банкиры на правах “партнеров” власти заодно *приватизировали* и правительство, благодаря чему присосались к бюджету» (М. Кругов).

2. “Субъекты экономической деятельности”.

В экономической теории субъекты экономической деятельности – это люди или организации, занимающиеся товарно-денежными операциями (производством, закупкой и продажей товаров).

Для успешной реализации основной экономической формулы “Товар–Деньги – Товар” общество создает специальные структуры – финансовые компании, акционерные общества, биржи, ярмарки, базары, магазины, которые организуют финансовые потоки. К числу подобных учреждений, казалось бы, не относятся политические партии, парламенты, избирательные комиссии, однако это ограничение не действует по отношению к метафорическому изображению современной российской политической жизни: “Российский парламент сегодня – это большая *биржа*, где депутаты зарабатывают деньги” (Е. Глушкова); “Госдума – своеобразное *акционерное общество, контрольный пакет* в ней Кремль никому отдавать не собирается” (О. Лурье); “Мы создали не рыночную экономику, а большой *базар*, где все *продается* и *покупается*” (М. Крючков).

3. “Экономическая деятельность”.

Как известно, финансовые учреждения создаются для того, чтобы получать доход от кредитов и инвестиций в прибыльные проекты. Клиенты банка могут получать дивиденды от своих вкладов, “стричь купоны” с облигаций банка. В конце года необходимо подвести баланс, подсчитать прибыль и убытки. Все это создает основу для регулярных метафорических преобразований: «Коммунисты хорошо понимают, кто “*стрижет купоны*” с их антиприватизационной кампании» (Т. Короенков); “Никаких *дивидендов* от этой бурной деятельности не достается только тем, кто оплачивает работу политиков, рядовым налогоплательщикам” (М. Ростовский); “у России были неприятности, но политический *баланс* для нас положительный: *прибыль* существенно *превышает убытки*” (С. Караганов).

Государство организует финансовую деятельность: оно при необходимости проводит девальвацию и ревальвацию национальной ва-

люты, устанавливает налоги и правила проведения валютных операций, в том числе конвертации, предотвращает инфляцию, занимается проблемами национализации и приватизации собственности. Все эти понятия метафорически используются для обозначения политических реалий: “Нам грозит *девальвация* духовных ценностей, результаты которой могут быть страшнее любой *инфляции*” (Н. Сорокин); “После упразднения федеральных округов признательность губернаторов *конвертируется* в голоса избирателей этих регионов” (С. Михайлов).

Стремление прийти к компромиссу, попытки договориться о сотрудничестве и иное взаимодействие между субъектами политической жизни в современных текстах нередко представляются как отношения купли–продажи: “Закон о гимне – это не что иное, как *сделка* между бывшей партийной номенклатурой и возвращенной ею новой российской буржуазией” (А. Гамов); “Участие в выборах было весьма *прибыльным бизнесом* для иных аутсайдеров” (С. Поршаков); “По мере приближения выборов страсть политиков к *торговле* своими голосами становится маньячной” (Е. Енин).

Во многих других случаях финансовая метафора обозначает реальный подкуп чиновников и депутатов: “Чиновничество России, славное своей *продажностью*, *продается* и здесь. Две трети водки в России производится полукриминальными дельцами, которые не платят налоги” (А. Брежнев); “Против Бориса Абрамовича сработал его собственный прием – покупать не собственность, *покупать людей*. Людей Березовского банально *перекупили*” (Е. Анисимов).

4. “Экономическая оценка”.

“Политические товары” нередко оцениваются по таким признакам, как *дорогой – дешевый, дефицитный – залежалый, качественный – некачественный*. Подобные свойства нередко оказываются основой для политических метафор: “Свобода слова – дорогой, но двоякий дар” (А. Солженицын); «Ради достижения этой цели Путин иной раз шел и на компромиссы – так оказывалось *дешевле*. Как *дешевле?* – этот вопрос пришел на смену извечным российским вопросам “Кто виноват?” и “Что делать?”» (Е. Анисимов);

Отдельные люди, предприятия, регионы и даже страны оцениваются с финансово-политической точки зрения как *богатые, состоятельные, бедные и банкроты*. Аналогичным образом в политическом дискурсе оценивается авторитет партий, движений и их политических лидеров: «Еще два года назад Новиков заявил: “Политическое *банкротство* губернатора Александра Прохорова – это уже как бы факт на сегодняшний день» (Н. Москвина); «После минувших выходных политическая сцена России заметно обеднела: партия “Единство”, движения “Отечество” и “Вся Россия” провели церемонию самороспуска» (С. Чугаев); «Приближение политического *банкротства* “Яблока” понимает и сам Явлинский» (А. Проханов).

Рассмотренные материалы показывают, что финансовая метафора в последние годы действительно превратилась в одну из ярких примет русской политической речи. Все более детальной становится структурированность исходной понятийной сферы, увеличиваются частотность использования соответствующих метафор и возможности развертывания соответствующих образов в тексте. Эти процессы вполне закономерны: источниками метафорической экспансии и метафорического притяжения обычно становятся понятийные сферы, которые очень актуальны для общества, хорошо известны людям и вызывают их повышенный интерес. Показательно, что при использовании финансовой метафоры авторы, как правило, не прибегают к кавычкам и другим знакам предупреждения о необычном использовании слова.

По степени образности можно выделить, по меньшей мере, два типа финансовых метафор в современной политической речи. К первому типу относятся “живые” метафоры, которые в полной мере сохраняют свою двуплановость и, соответственно, внутреннюю форму. Такие метафоры (*девальвация совести, продажный чиновник, парламентская биржа* и др.), как правило, несут отрицательную оценку, поскольку в нашем национальном сознании традиционно порицалось перенесение в политическую сферу законов и нравов, существующих в сфере товарно-денежных отношений. Вместе с тем в русской политической речи много “стертых” финансовых метафор с почти утраченной образностью (*дорогое удовольствие, цена свободы, экономия политических ресурсов* и др.). При использовании таких метафор возможна актуализация внутренней формы за счет средств контекста, что в той или иной степени “оживляет” образ, привлекает к нему внимание адресата.

В наших предыдущих публикациях (Россия в метафорическом зеркале // Русская речь. 2001. №№ 1, 3, 4; 2002. №№ 1, 2, 3) было показано, что ведущие концептуальные метафоры в современной российской политической жизни – это метафоры, связанные с болезнями, войной, миром животных, криминалом, и театром (цирком, балаганом). Финансовая метафора занимает все более прочное место в этом ряду.

Екатеринбург

*Язык прессы***Обезглавливание через озаглавливание**

*Е. Н. БАСОВСКАЯ,
кандидат филологических наук*

На протяжении последнего десятилетия отечественная журналистика ищет новый стиль. Поиски эти естественным образом начались с отрицания дискредитированного опыта советских средств массовой информации и стремления выработать принципиально иной тон общения с аудиторией. “Общество склонно сегодня выбирать... незапятнанное, так сказать, минимально связанное, не ассоциируемое с недавним прошлым”, – отмечал В.Г. Костомаров в книге “Языковой вкус эпохи” в середине 90-х годов.

Подчеркнутая официальность советской прессы, радио и телевидения закономерно сменилась стилистикой дружеской беседы (а нередко и болтовни), а безусловная серьезность уступила место всеобщей шутливости. В том же исследовании В.Г. Костомарова было зафиксировано распространение нового для российской журналистики явления, названного “смех ради смеха”. Авторы газетно-журнальных публикаций, радио- и телематериалов стали все чаще иронизировать, используя комическое как средство привлечения внимания, а также как своего рода прививку от ложного пафоса. При этом во многих случаях сам предмет обсуждения не предполагал иронического отношения или даже не допускал его.

В результате, несмотря на политическое, тематическое и жанровое разнообразие сегодняшних российских СМИ, значительная их часть представляет собой парадоксальное стилистическое единство. Как указывает Е.А. Земская, в основе такой общности лежит склонность самых разных авторов к речевому ёрничеству, или стёбу. Причем с течением времени, когда задача противостояния советскому новоязу утратила актуальность, тяга журналистов к ёрничеству несколько не ослабела. Е.А. Земская приводит в связи с этим слова А. Агеева: «На наших глазах сменилась эпоха, ушел в прошлое контекст, в котором стёб только и мог естественно существовать и “функционировать”... Стёб по всем расчетам должен был тихо почить в бозе. Но не тут-то было! Последние три-четыре года стали временем настоящего триумфа стёба. Стебают нынче все! Вслед за удалым “Московским комсомольцем” застебали “Независимая”, респектабельная “Сегодня”, гордый “Коммерсант”» (Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 1996. С. 23).

Со времени публикации работ В.Г. Костомарова и Е.А. Земской прошло несколько лет. Но и сегодня описанные процессы в языке

публицистики не утратили актуальности. В этом смысле показательна стилистика заголовков печатных СМИ.

Заголовок занимает особое место в тексте, одновременно выполняя как минимум две функции: сигнальную (привлекает внимание читателя) и информативную (дает представление о предмете публикации). Кроме того заголовок настраивает аудиторию на определенную эмоциональную тональность. К нему вполне применимы слова Г.Я. Солганика, относящиеся к зачину прозаической строфы: заголовок также “служит своего рода камертоном, определяющим стилистическое единство” но не отдельной строфы, а текста в целом (Солганик Г.Я. Стилистика текста М., 1997. С. 43). Поэтому анализ заголовков позволяет сделать выводы относительно современных тенденций развития публицистического стиля русского языка.

Материалом для данной статьи послужили публикации в так называемых “качественных” российских журналах: “Деловая хроника”, “Еженедельный журнал”, “Итоги”, “Коммерсант-Власть”, “Коммерсант-Деньги”, “Огонек”. Все эти издания ориентированы на взрослую, образованную, преимущественно городскую аудиторию.

В мире любимых цитат

Первое, на чем останавливается внимание, – это большое количество заголовков, представляющих собой точные или намеренно искаженные цитаты из классических текстов. Обыгрывание широко понимаемой фразеологии (в том числе и так называемых “крылатых выражений” из литературной и кинематографической классики) характерно для публицистического стиля. Этот прием дает автору возможность не только заинтересовать аудиторию, но и продемонстрировать кругозор, а также настроить компетентного читателя на диалог культурных единомышленников. Известно, что совпадение круга чтения – один из важнейших показателей общности интересов и взглядов.

Специфика использования заголовков такого типа в современных журналах заключается во всепроникающей ироничности цитирования. Даже в случае точного воспроизведения оригинального текста возникает комический эффект, который определяется противоречием между настроением цитируемого произведения и предметом журнальной статьи: “Земфира охладела” – об изменениях в имидже эстрадной певицы Земфиры (Еженедельный журнал. 2002. 2 апр.); “Волки и овцы” (Еженедельный журнал. 2002. 23 апр.) – об отношении либеральной интеллигенции к роману Проханова “Господин Гексоген”; “Только детские книги читать...” (Еженедельный журнал. 2002. 23 июля) – о проблемах российского книгоиздания для детей; “Смешались в кучу кони, люди” (Еженедельный журнал. 2002. 15 окт.) – о судьбе уникального конского кладбища в Царском Селе.

Еще более откровенно ироническое переосмысление классики в заголовках, представляющих собой измененные цитаты: “Во глубине античных руд” (ср.: “Во глубине сибирских руд...” – А.С. Пушкин, первая строка стихотворения 1827 г.) – Итоги. 2001. 16 окт.; “Старик и лыжи” (ср.: “Старик и море” – название повести Э. Хемингуэя) – Огонек. 2002. 25 февр.; “На деревню Джойсу” (ср.: “на деревню дедушке” – знаменитый “адрес” из рассказа А.П. Чехова “Ванька”) – Огонек. 2002. 11 марта; “Эволюционный держите шаг” (Ср.: “Революционный держите шаг!” – призыв из поэмы А.А. Блока “Двенадцать”) – Ежедневный журнал. 2002. 2 апр.; “Маска, приятная во всех отношениях” (ср.: “дама, приятная во всех отношениях” – характеристика второстепенного персонажа поэмы Н.В. Гоголя “Мертвые души”) – Итоги. 2002. 23 апр.; “Прощание с матерями” (ср.: “Прощание с Матёрой” – название повести В.Г. Распутина) – Ежедневный журнал. 2002. 23 апр.

Вольное обращение с классическими литературными текстами вряд ли заслуживает осуждения. В данном случае действует языковой закон, общий для всех типов устойчивых сочетаний слов: по мере фразеологизации связь выражения с первоисточником ослабляется, а значение целого перестает равняться сумме значений частей. Для журналистов, обыгрывающих общеизвестные цитаты, не имеет (и не может иметь) значения трагический характер тех или иных исходных текстов. Важна только узнаваемость крылатых фраз. Читатель с большой вероятностью обратит внимание на знакомые с детства сочетания слов, а также получит шанс порадоваться остроумию и стилистическому мастерству современного автора. Журналисты как будто заывают с печатных страниц: “Внимание, ровесники! Внимание, образованные люди! У нас общий запас цитат – у нас общие интересы!”

Как это по-русски?

На формирование относительно однородной дружественной аудитории направлен, судя по всему и другой прием, широко применяющийся сегодня на журнальных страницах, – употребление неосвоенных иностранных слов, а также словосочетаний и предложений. При этом перевод иностранного заголовка может быть дан не рядом с ним (например, в скобках), а в тексте статьи или вообще отсутствовать.

Среди языков-источников лидирует английский, что закономерно с учетом его роли в современном мире. Английские слова могут быть записаны как латиницей, так и кириллицей. В некоторых случаях заголовков состоит только из них; иногда они перемежаются русскими или другими варваризмами;

“Счастливые озы из страны “Lucky Country” – интервью с послом Австралии Р.Л. Пирс (Огонек. 2001. 17 дек.). Lucky Country – счастли-

вая страна; “Человек из анекдота, или Нью рашн фор эвер” (Огонек. 2002. 4 февр.). “Нью рашн фор эвер” – новый русский навсегда.

Заголовки, составленные из слов других языков, редко встречаются на страницах журналов. Они или представляют собой интернациональные фразеологизмы (“Гутен морген, дядя Ваня!”. Огонек. 2002. 25 марта – об отдыхе русских в Германии), или безусловно оправдываются содержанием текста, в котором содержится их перевод и подробный комментарий: “Mundus novus” – Еженедельный журнал. 2002. 15 окт. Новый мир, новый свет – название латинского перевода письма А. Веспуччи Л. Медичи (издание 1503 г.).

Не вызывает сомнений тот факт, что среднестатистический читатель сегодняшнего российского качественного журнала обязан, по представлению редакций, знать английский язык. Иностраннный заголовок должен не оттолкнуть, а, напротив, привлечь его. Осознание того, что ты способен читать по-английски без перевода, повышает самооценку, а журналист, свободно пользующийся английскими словами и выражениями, производит впечатление современного, образованного, компетентного человека. Некоторая часть потенциальной аудитории при этом заведомо отсекается (тому, кто не способен самостоятельно перевести заголовок, язык журнала, вероятнее всего, покажется излишне усложненным). Это еще раз подтверждает уже высказывавшееся предположение: качественная пресса ни в коей мере не стремится к общедоступности, а, напротив, различными средствами выделяет в массовой аудитории “своего”, “особого”, читателя.

Жаргон: слово чужое или свое?

Однако при анализе образа обобщенного читателя нельзя абсолютизировать такие качества, как образованность и интеллигентность. По крайней мере, журналисты настроены на диалог не с любым русским интеллигентом, а именно с постсоветским, чей менталитет характеризуется не только знанием классической литературы и английского языка, но и активнымприятием нового, современного, нередко – в ущерб традиционным ценностям. Так, читателя современных качественных СМИ не должен отталкивать жаргон как неотъемлемая принадлежность сегодняшнего криминализированного общества. Вполне очевидно, что отнюдь не на языковых пуристов рассчитаны заголовки такого рода: «Глеб Павловский: “Обломы бывают у всех, кто работает? в Кремле”» (Огонек. 2001. 10 дек.); “Стальной наезд” (Еженедельный журнал. 2002. 19 марта); “Лоховозка” (Еженедельный журнал. 2002. 30 апр.); “Китай в отключке” (Коммерсант-власть. 2002. 16–22 сент.).

Среди этих публикаций могут быть отмечены два типа. Для первого характерна отстраненная позиция журналиста по отношению к ре-

чи собеседника, употребляющего жаргонизмы. Так, автор “Огонька” А. Никонов выносит в заголовки не только слова интервьюируемого, но и его фамилию, снимая с себя ответственность за избираемую героем лексику. То же отношение к жаргонизму демонстрирует Л. Рубинштейн в “Еженедельном журнале”. Безымянный персонаж заметки “Лоховозка” – бандит, вынужденный ехать в маршрутном такси из-за того, что у него сломалась машина. Его короткий монолог содержит не только жаргонизмы, но и ненормативную лексику. При этом автор не солидаризируется с ним, подчеркивая, что охотно принимает статус “лоха” – интеллигента в переводе на литературный язык.

В публикациях второго типа не удастся обнаружить двух противопоставленных речевых стихий. Жаргонизация языка становится для журналиста прежде всего средством иронии, а также самоидентификации с той частью аудитории, которая легко отступает от норм русского литературного языка.

“Ведь нынче кто не шутит...”

Стремление журналистов смотреть на мир с улыбкой и настраивать публику на легкое, насмешливое отношение к происходящему нередко вступает в противоречие с жизненным материалом. Действительность дает немало поводов для смеха, особенно сатирического, но иронический взгляд СМИ останавливается не только на предметах, достойных осмеяния. Во многих случаях тональность заголовка абсолютно не соответствует ни теме публикации, ни затрагиваемым в ней проблемам. Апеллятивная (призывная) функция заголовка выполняется в ущерб информативной.

Это противоречие относительно безобидно в тех случаях, когда сам предмет обсуждения допускает ироническое толкование. Так, рецензия на англо-американский фильм “Шпионские игры” публикуется под названием “Подвиг разведчика” (Еженедельный журнал. 2002. 5 февр.). Сдержанное отношение журналиста к киноновинке, отразившееся в рецензии, уточнено ироническим заголовком, который подчеркивает сходство между наивным советским патриотическим фильмом 1947 г. и современной голливудской продукцией.

На первый взгляд, допустима и насмешливая интонация заметки, рассказывающей о том, что итальянская кинозвезда Софи Лорен рекламирует польские макароны. Тем не менее, заголовок “Ксендзы ее охмурили, что ли?” (Еженедельный журнал. 2002. 5 февр.) звучит необоснованно грубо по отношению к польским священнослужителям. Вызывающе неudelикатны и заголовки “В краю непуганых кельтов” – о перспективах отдыха в Ирландии (Деловая хроника. 2002. 8–14 отк.) и “Почти Европа” – о межнациональных отношениях в Латвии и Эстонии (Еженедельный журнал. 2002. 15 окт.). В первом случае в созна-

нии носителя русского языка неизбежно возникает грубо-иронический фразеологизм “край непуганых идиотов”, во втором – подчеркивается некая “второсортность” стран Балтии по сравнению с другими западноевропейскими государствами. Показательно, что авторы обеих статей оказываются значительно сдержаннее и корректнее, нежели того можно ожидать, основываясь на стилистике заголовка. Это заставляет предположить, что названия текстам дали не сами журналисты, а кто-то из сотрудников редакции, больше заботившийся о броскости заголовка, чем о его соответствии содержанию публикации.

Можно привести и другие примеры заголовков, фактически “обезглавливающих” текст: “Лягушатник-путешественник” – о маркизе де Кюстине (Коммерсант-Деньги. 2002. 16 янв.); “Империя чувств” – о горнолыжном отдыхе в Румынии и межнациональных отношениях на развалинах империи (Огонек. 2002. 4 февр.); “Хорошее отношение к лошадям” – о блюдах из конины (Еженедельный журнал. 2002. 5 февр.); “До второго пришествия” – о российских адвентистах (Еженедельный журнал. 2002. 19 февр.); “Воюют все!” – о конфликтах внутри Афганистана (Еженедельный журнал. 2002. 19 марта); “Допекли” – о конкуренции частных пекарен с хлебозаводами (Там же); “Биологи нахимичили” – о нобелевских лауреатах в области химии – биохимиках (Еженедельный журнал. 2002. 15 окт.).

Презрительное название француза “лягушатник” не отражает уважительного отношения автора статьи к А. де Кюстину и вряд ли может быть оправдано совершенно неуместной ассоциацией со сказкой “Лягушка-путешественница”.

Раздумья о том, как складываются отношения между народами, составлявшими прежде единую “социалистическую империю”, компрометируются заголовком, вызывающим в памяти скандально знаменитый японский фильм.

Заголовок “Хорошее отношение к лошадям” выглядит цинично: речь идет о блюдах, которые готовятся из убитых человеком лошадей. Кроме того, авторская беспощадная ирония рикошетом задевает и произительно-грустное стихотворение В.В. Маяковского.

Фразеологизм “до второго пришествия” означает “бесконечно долго” и имеет в русском языке неодобрительный характер. В статье же речь идет о трудолюбии и высоких моральных качествах людей, населяющих адвентистскую колонию. Таким образом, читатель, готовый к тому, что журналист будет издеваться над сектантами, с удивлением узнает в них положительных героев.

Восклицание “Воюют все!” ассоциируется в сознании россиян с радостным возгласом “Танцуют все!” из комедии Л. Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию”. В статье же говорится о раздирающих Афганистан кровавых конфликтах.

Два последних заголовка бесцельно дискредитируют деятельность героев публикаций. Глагол “допекать” имеет в одном из значений разговорный характер: “надоедать, не давать покоя кому-либо, донимать”. Смысловая двуплановость слова обыгрывается чисто формально: содержанием статьи этот стилистический прием не подкрепляется. Более того – читатель остается в недоумении относительно авторской позиции: можно ли считать, что, по мнению журналиста, небольшие пекарни “допекли” страну, то есть прибавили ей ненужных хлопот?

Еще менее уместным оказывается заголовок “Биологи нахимичили”. Заметка входит в комплекс публикаций, посвященных вручению Нобелевской премии. Журналист, естественно, не пытается поставить под сомнение заслуги лауреатов. Но просторечный глагол “нахимичить” со значением “натворить вредных дел” (Ср.: “химичить – интриговать, жульничать, проворачивать сложные дела, вообще делать что-либо” – Елистратов В.С. Словарь русского арго. М., 2000) вынуждает читателя искать в материале несуществующий подтекст.

Желание журналистов, работающих в качественных журналах, привлечь и сохранить читателя-единомышленника естественно в ситуации острой конкурентной борьбы изданий. Многие речевые средства, используемые в борьбе за аудиторию, доказали свою эффективность. К числу действенных орудий завоевания интеллигентной публики можно отнести цитаты и реминисценции, а также использование иностранных слов и выражений (если они не слишком усложняют понимание текста).

Важно помнить и о том, что любое средство массовой информации не только находит, но и формирует свою аудиторию. Ни один журнал или газета не играет решающей роли в нравственном и эстетическом воспитании человека, но определенное влияние на взгляды и вкусы публики СМИ, безусловно, оказывает. В связи с этим вызывает тревогу та всеохватная ирония, которая заставляет журналистов подшучивать над людскими страданиями, не щадить ничьих чувств, унижать человеческое достоинство. Гуманистическое содержание статьи может быть перечеркнуто ёрническим заголовком. Принцип “ничего святого” усваивается особенно легко и прочно не тогда, когда он открыто декларируется, а тогда, когда последовательно применяется.

Впрочем, ответственность журналистов нельзя и преувеличивать. Ведь средства массовой информации – достаточно точное отражение эпохи и общества. Как не заметить, глядя в это зеркало, нашу лихорадочную веселость и наш крепнущий цинизм, с помощью которых мы пытаемся защититься от суровой реальности?



Своеобразие стилистики
“Повести о нашествии Тохтамыша”

Н. В. ТРОФИМОВА,
доктор филологических наук

“Повесть о нашествии Тохтамыша”, рассказывающая о разорении Москвы через два года после победоносной Куликовской битвы, в 1382 году, сохранилась практически во всех летописных сводах XV–XVI веков в двух основных редакциях, выделенных и рассмотренных М.А. Салминой (Салмина М.А. Повесть о нашествии Тохтамыша. Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1979. Т. 34). Это более краткая редакция, отразившаяся прежде всего в Рогожской и Симеоновской летописях, и пространная, варианты которой обнаружены исследователями в Новгородской IV и Софийской I летописях, восходящих к единому источнику. Переработки этих текстов помещены в своды XVI века и различаются между собой: краткая редакция упоминает основные этапы событий, а пространная приводит множество деталей. Но в обеих редакциях, хотя и в разной степени, летописцы воспользовались приемами эмоционально-риторического стиля, напоминающими распространившийся в житиях святых конца XIV – начала XV веков стиль *плетения словес*.

Поскольку в краткой редакции почти не было описаний и отступлений, ведущую роль в создании эмоционально-экспрессивного стиля играли глагольные формы, передававшие последовательные действия героев. В ряде случаев это цепочки глаголов, связанные с разными объектами действия: “Того же лета царь Токтамышь посла в Болгары и повеле христианския гости русския грабити, а ссуды их и с товаром отнимати и провадити к себе на перевоз...” (Повесть по Рогожскому летописцу. ПСРЛ. 2000. Т. 15). Внутрь второй части фразы, содержащей три глагола, – *подживася, перевезеся, поиде* – автор ввел еще два синонимичных именных оборота – *со всею силою своею* и *со всеми своими безбожными плъкы татарскими*, – которые подчеркивают большую силу войска Тохтамышя.

В рассказе о вступлении хана на Русскую землю летописец применил ту же схему: “...преже всех взя град Серпохов и огнем пожже, и отътуду поиде к Москве, напрасно устремився, волости и села жгучи и воюючи, народ христианьский секучи и убиваючи, а иные люди в полон емлючи”. Здесь появляются парные сочетания глаголов, создающие морфологические созвучия, и пара взаимодополняющих существительных. Такое переплетение разнородных повторов было характерным приемом стиля *плетения словес* и служило усилению эмоциональности повествования.

Более простой трехчлен обнаруживается в описании разорения Москвы: “В церквах же и в олтарех убиство съдеяша и кровопролитие сътвориша окааннии, и святая места погании оскверниша”. В ряде случаев глаголы образуют длинные цепи: четырех, пяти, семичленные. О сыновьях Дмитрия Константиновича, посланных отцом к Тохтамышу, сказано, что они “гнаша в след его и переехаша дорогу его на Серначе, и поидоша в след его и постигоша его на Рязани”. Об осаде города автор лишь упоминает: “Царь же стоя у города 3 дни, а на 4 день оболга Остея лживыми речми и миром лживым, и вызва его из града и уби его пред враты града, а ратем своим всем повеле оступити град весь с все страны...”. Нагнетание глаголов сопровождается повтором слова *град* в разных формах, подчеркивающим значение действий хана для всех жителей Москвы.

В подробном рассказе о разграблении города летописец вновь переплетает разные ряды однородных членов: “...и церкви зборныя разграбиша и иконы чюдныя и честныя одраша, украшенныя златом и серебром и женчюгом и бисером, и каменiem драгим и пелены златом шитыя и саженныя одраша, кузнь с икон одраша, а иконы попраша и ссуды церковныя служебныя священныя поимаша и ризы поповьския пограбиша”. Благодаря включению в глагольный многочлен рядов дополнений и определений – существительных и прилагательных – летописец добивался не только эмоциональности, но и красочности повествования.

Синтаксически более четко организованный, а потому более ритмичный семичлен рассказывает о разорении татарами других земель после захвата Москвы: “Татарове же волости повоеваша и грады поимаша, а села пожгоша, а монастыри пограбиша, а христиан посекоша, а иных в полон поведоша и много зла сътвориша”. Полный синтаксический параллелизм делает особенно заметными глагольные созвучия, подчеркивающие эмоциональность фрагмента.

В отдельных случаях автор использовал повтор именных оборотов, в основном, в рассказах о судьбе Москвы и ее жителей. Так, упоминая о гибели книг, он подчеркивал их количество перечислением мест, откуда их принесли: “...с всего града и из загороδια и ис сел”. К слову сказать, это редкий случай, когда в воинской повести среди прочих ценностей, погубленных врагами, упоминаются книги. Реплика говорит об авторе как о человеке книжном, способном в полной мере понять тяжесть этой утраты.

Особенно сложные конструкции повторов выстроил летописец, говоря о гибели жителей и чувствах, которые испытывали оставшиеся в живых. Первая из фраз состоит из трехчлена, девятичлена и еще одного трехчлена: 1 – *И ту убиен бысть Семен, архимандрит Спасский, и другъи архимандрит Иаков и игумен Акинф Крилов; 2 – и инии мнози игумени и прозвитери, и черньци, и крилошане, и черници, и попове, и диаконы, и простъци от унаго и до старца, и младенца мужьска полу и женьска; 3 – ти вси посечени быша, овии побиени быша, друзи же в полон в поганъи поведени быша*. В последней части фразы, воспроизводящей формульную конструкцию судьбы побежденных в воинских повестях, синтаксический параллелизм с созвучиями глагольных окончаний дополняется своеобразной звукописью повторенного пять раз начального слога *по*, что также было обычным для стиля плетения словес.

Вторая фраза описывает душевное состояние московских жителей после захвата города. Здесь использован ряд из 28 существительных, передающих проявления чувств и называющих сами чувства. Группы слов, использованные в этом ряду, являются синонимами или словами, близкими по значению, а их соединение усиливает эмоциональное воздействие фрагмента: *плач и рыдание и вопль мног, слезы, крик велик, стенание, охание, сетование, печаль горкаа, скорбь, беда, нужда, горесть смертнаа, страх, трепет, ужас, дряхлование, ищезнование, поправление, бещестие, поругание, понос, смехание врагом, укор, студ, срамота, поношение, уничтожение*.

Примеры повторов в тексте повести не исчерпываются приведенным материалом, но основные типы их нами намечены.

Из вариантов пространной редакции большей полнотой отличается тот, что помещен в Новгородской IV летописи. В нем подробно, с детальными мотивировками передается ход событий и встречается

наибольшее количество авторских отступлений. У произведения появляется заглавие “О пленении и о приходе Тахтмышы царя и о Московском взятии” (ПСРЛ. М., 2000. Т. 4. Ч. 1).

Как и в краткой редакции эмоционально рассказать о ходе событий летописцу помогают приемы агиографического стиля. Так, повествуя о помощи Олега Рязанского татарам, автор замечает, что князь посоветовал, “како пленити землю Рускую, како бес труда взяти каменный град Москву, како победити и издобыти князя Дмитрия”. Три параллельных синтаксических оборота дополняют друг друга по смыслу, внутри последнего из них введены еще два близких по смыслу глагола, а параллелизм подчеркнут анафорическим союзом, и все эти средства способствуют эмоциональной акцентировке роли предателя – рязанского князя.

Гораздо шире, чем в краткой повести, используются летописцем триады синонимов. Например, говоря о совете князей, автор упоминает, что Дмитрий, “то познав и разумев и рассмотрев”, “и убоясь стати в лице самого царя, и не ста на бои противу его, и не подня руки на царя”. После отъезда князя из Москвы вече собрали “народи мятежници, недобрии чловеци, людие крамолници”. Суздальско-нижегородские князья, шедшие вместе с Тохтамышем, обманывают московских жителей и говорят им, что Тохтамыш не будет разорять город, а всего лишь хочет “видети град сей и во нь внити и в нем побывати”. Когда войска татар вошли в город, жителям было “негде и избавления обрести, и несть где смерти избыти, и несть где острема меча укрытися”. О походе врагов по Руси сказано: “Татарове же многи грады поимаща, и волости повоеваща, и села пожгоша...”. Рассказывая о бедах, принесенных Тохтамышем, летописец перечисляет “убытки и напасти и проторы”. Количество примеров можно значительно расширить.

В пространной редакции гораздо чаще используются библейские цитаты, причем автор применяет их группами, что было обычным для стиля *плетения словес*. Рассказывая о совете князей, на котором они не пришли к согласию, летописец привел стих из Псалтири (132; 1) с точной ссылкой на источник – “не помянуша Давыда пророка, глаголюща”, а затем из Притч (18; 19) с невнятным упоминанием “и другому приснопомнимому рекшу”. Рисуя картину разоренного города, автор к тексту из Псалтири, использованному в краткой редакции, добавляет еще два стиха из другого псалма (77; 63–64). В рассуждении летописца о наказании людям, не подчиняющимся Божьей воле, использованы реминисценции из книг Исайи (1; 19), Иеремии (15; 8), Левит (26; 14, 17, 8), объединенные общей ссылкой “яко же Господь глагола пророком” (337).

В единственном случае летописец привел одну цитату: сожалея о доверчивости москвичей, он заметил, что они “ни помянуша глаголющаго: не всякому духу веруйте” (I Иоанна. 4; 1). Многочисленность ци-

тат, неточная передача текстов, соединение нескольких источников в связи с одним объектом – все эти особенности напоминают манеру цитирования Епифания Премудрого.

Из других средств агиографического стиля, примененных автором пространной редакции повести, нужно упомянуть тавтологию: *думу думати, бежан сбежало, стреляше стрелами, съкровища съкровенное*; сложные двухкорневые слова, имеющие ярко выраженный оценочный характер: *многоценныа* (трижды), *велехвалное, богатотворное, быстрообразно, долговременство, благодущество, многочловечен, славословиа* и *хвалословения, стихословиа*. Примечательно, что последнее из отмеченных средств появляется в двух фрагментах: описании разорения Москвы и отступлении – плаче, живо напоминающем плачи из “Жития Стефана Пермского”: *1 – взят бысть и посечен и пожжен; 2 – и святыя церкви стояще, аки разорены, аки осиротевше, аки овдовевше*. Данному плачу предшествует похвала Москве, последовательно построенная на основе триад однородных членов: *1 – была Москва град велик, град чюден, град многочловечен; 2 – в немже множество людьи, в немже множество огосподьства, в немже множество всякого узорочья*.

В приведенных примерах видны разнообразные языковые средства, используемые автором: однородные члены; четко выдержан принцип синтаксического параллелизма с анафорой, а также созвучия в окончаниях глаголов. Далее – в плаче используются риторические вопросы, восклицания, обращения, парные сочетания синонимов, созвучия на основе именных сочетаний: “ни слышати славословиа и хвалословения, не бысть в церквах стихословиа и благодарения”. Все эти средства были использованы Епифанием Премудрым в первом из дошедших до нас житий. Если вспомнить три плача, завершавшие житие, которые построены на основе сочетания плача и похвалы, то можно предположить, что редакция повести, зафиксированная Новгородской IV летописью, написана или знаменитым агиографом, как утверждал Б.М. Клосс (Клосс Б.М., Избранные труды. М., 1998 Т. 1), или кем-то из его учеников.

Исследователи текста “Повести о Тохтамыше” считают, что редакция Софийской I летописи представляет собой сокращение варианта Новгородского IV свода. Из значительных сокращений нужно отметить изъятие плача о погибших и заключительного перечисления бед, принесенных татарами. Последовательной переработке подверглась стилистика произведения. Многие фрагменты, содержавшие триады однородных членов или синонимов, были упрощены. Например, в рассказе о совете князей выпущены обе триады, уже приведенные нами. О Дмитрии сказано, что он “познав и разумев... бысть в недоумении и в размышлении, не хотя стати противу самого царя...” (ПСРЛ. Т. 6. Ч. 1). Таким образом, редактор Софийского свода, сняв

триады, характерные для агиографического стиля, в то же время сохранил парные синонимические сочетания.

В следующем фрагменте, рассказывающем о созыве вече, также снимается триада синонимов с определениями, остается лишь пара без определений: *мятежници, крамолници*. В то же время в других случаях трехчлены сохраняются, например, в словах суздальских князей о желании Тохтамыша видеть Москву, в упоминании автора о том, что жителям негде было укрыться от неизбежной смерти.

Только в двух случаях нами обнаружены вставки в текст Софийской летописи, приведшие к возникновению тройных сочетаний. В Новгородском своде, рассказывая о разорении и разграблении города, автор упомянул: “паки другиа сущеи в граде купци...”; редактор Софийского свода уточнил: “...сурожане и суконники и купци...”. В первом из сводов сказано: “Товар же и всякия имениа пограбиша, и град огнем зажога, и град убо огню предаша”, и в части списков прибавлено: “а люди мечю предаша”. Фактически второй и третий члены тавтологичны, а четвертый, введенный в части списков, превращает трехчлен в два двухчлена. Редактор Софийской летописи упорядочил фразу, снял тавтологию и четко выдержал синтаксический параллелизм: “и град огнем запалиша, а товары и богатество все разграбиша и людие мечю предаша”.

Судя по этим изменениям, можно предположить, что редактор стремился приблизить повествование к традиции летописной воинской повести, сняв избыточные для этого жанра отступления, и кое-где упростив текст. В то же время он сам использовал элементы стиля *плетения словес*, проникшего к тому времени и в летописное повествование, а потому не внес в текст ничего принципиально нового.

Таким образом, усиление в конце XIV – начале XV веков внимания к изображению человека и поиск новых средств выражения позиции повествователя привели к использованию в летописной воинской повести средств эмоционально-экспрессивного стиля, зародившегося в домонгольской Руси в произведениях ораторского направления и получивших широкое распространение в агиографии эпохи Куликовской битвы.



Холоп твой – общий ваш холоп

Д. С. КУЛМАМатов,
доктор филологических наук

Жанры русских документов, восходящих своими истоками к XI–XIV векам, были разнообразными. “Так, жанр письменного обращения нижестоящего лица к вышестоящему с просьбой [или жалобой о чем-нибудь. – Д.К.] в княжеской канцелярии реализовался в документе с названием *жалоба*, в приказной канцелярии – в *челобитной*, в петровской и министерской канцеляриях – в *прошении*, в настоящее время этот жанр реализуется в *заявлении*” (Качалкин А.М. Жанры русского документа допетровской эпохи. Источники изучения и вопросы авторства документа М., 1988. Ч. 1). Например, идентичность заявлений и челобитных особенно наглядным образом проявляется в их начальной части, состоящей из трех элементов: 1) *адресата*, т.е. получателя документа, кому документ направлен; 2) *адресанта* с данными об отправителе документа, его авторе; 3) *названия документа*.

Но последовательность этих документов своеобразна: в современных заявлениях – *адресат* – *адресант* – *название документа*, а в челобитных – *адресат* – *название документа* – *адресант*.

Адресат как у наших теперешних заявлений, так и у древних челобитных, пишется в дательном падеже. А что касается остальных элементов, то здесь наблюдаются некоторые различия, т.е. *адресант* в заявлениях сейчас пишется в родительном падеже, а в челобитных того времени – в именительном падеже; название документа в заявлении

ях выражается существительным *заявление*, а в челобитных – устойчивым глагольным сочетанием *бьет челом* (отсюда *челобитье*, *челобитье*, *челобитная*).

Необходимо заметить, что элементы начальной части челобитных, в отличие от заявлений, дополняются отдельными формулами. Например, сведения об адресанте – челобитчике (документоподателе) всегда сопровождаются приложением – формулой *холоп твой*, выражающей вассальное отношение – “вассальную зависимость” (Волков С.С. Лексика русских челобитных XVII в. Формуляр, традиционные этикетные и стилевые средства Л., 1974).

Порядок оформления начальной части челобитных довольно хорошо разъясняется одним из бывших подьячих Посольского приказа – Г.К. Котошихиным (ок. 1630–1667) в сочинении “О России в царствование Алексея Михайловича”: «А кому случится о каких и в приказах судьям и в городех и в войне воеводам или послом, и в челобитных своих пишут бояре и околничие и думные и всякого чину служилые люди “Царю государю и великому князю” именованье и титла его царская против того же, что и в отписке, а потом “бьет челом холоп твой” князь или боярин и простой человек полуимянем же без княжества и без чину» (Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906). Данное высказывание Г.К. Котошихина можно проиллюстрировать некоторыми типичными примерами начальной части челобитных XVII века: “Ц(а)рю г(о)с(у)д(а)рю и великому кн(я)зю Михаилу Федоровичю всеа Руси бьет челом холоп твой г(о)с(у)д(а)р(е)вы Мастерской п(алаты) сторож Ивашко Тимофеев” (Московская деловая и бытовая письменность XVII в. Изд. подготов. С.И. Котков, А.С. Орешников, И.С. Филиппова. М., 1968); “Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Руси холопи твои [астраханские воеводы. – Д.К.] Юшко Ситцкой, Степашко Уготцкой, Савка Самсонов челом бьют” (Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Торговля с Московским государством и международное положение Средней Азии в XVI–XVII вв. Л., 1932).

Ранее на этот обычай обращал внимание в свое время и французский капитан Жак Маржерет, находившийся в начале XVII века на русской службе, и с удивлением писал: “Ведь в этой стране все – знатные и незнатные, – даже царские братья, называют себя холопами государевыми” (Цит. по: Добродомов И.Г. Слово и время // Античная литература и современная наука. М., 1985). Смысл этого канцелярского обычая, относящегося только к служилым людям, хорошо разъясняется в одной из работ русского историка и источниковеда С.Б. Веселовского: «По вопросу о “холопьях” – почему служилые люди везде в своих челобитьях говорили, что они холопы? Толковали так, что это простая формула, которая ровно ничего не значит. А я убедился в том, что это не простая формула, а что она имеет важное

значение. Когда какой-нибудь удельный князь или боярин писал “холопы”, тут не простая шутка. В связи с занятиями по истории класса служилых землевладельцев я пришел к убеждению и нашел подтверждение, что записи о службе были наследственные и они приближались к полному холопству. Служебная зависимость, в которую попал с первых времен феодализма служилый человек, была аналогична полному холопству. Этим объясняется то, что этот термин “холопья” встречается в самых древних документах» (Веселовский С.Б. Труды по источниковедению и истории России периода феодализма. М., 1978).

Холопами государевыми именовали себя также иноземцы, находившиеся на русской службе, но неслужилые иноземцы такую формулу не употребляли (Волков. Указ. соч.). Модификация формулы вассальной зависимости служилых людей встречается, например, и в челобитной хивинского посла Кошута Багатыра царю Михаилу Федоровичу с жалобой на торгового человека Онисима, не взявшего в судно его товаров, от 30 марта 1641 года: “Великому г(о)с(у)д(а)рю ц(а)рю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии самодержцу и многих г(о)с(у)д(а)рств г(о)с(у)д(а)рю обладателю вашему ц(а)рскому величеству бьет челом общеи ваш холон г(о)с(у)д(а)ря своего Исфендеярова Багатырева сына Салтанъсеита царевича посол Кошут Багатыр” (Российский государственный архив древних актов. Далее – РГАДА). Она отмечается также и в челобитной бухарского посла Кузейногая от 20 февраля 1645 года царю Михаилу Федоровичу с просьбой велеть подъячему сыскать их “наймита”: “Великому г(о)с(у)д(а)рю ц(а)рю и великому кн(я)зю Михаилу Федоровичю всеа Русии самодержцу и многих г(о)с(у)д(а)рств г(о)с(у)д(а)рю и обладателю (...) бьет челом общеи в(а)шь холон бухарского Надырмагметев царев посол Кюзеиногаи” (Там же).

Из приведенных примеров видно, что формула вассального отношения, употребляющаяся в челобитных среднеазиатских послов XVII века довольно своеобразна, т.е. состоит не из двух, как это было привычно для собственно русских деловых документов, а из трех слов: *общий ваш холон*. В этом своеобразном устойчивом словосочетании обращает на себя внимание слово *общий* и, естественно, требует своего объяснения. Сразу, исходя из контекста старинных русских переводов хивинских и бухарских челобитных XVII века, выяснить значение его, конечно, трудно, но это возможно с помощью иноязычных оригиналов. В результате сличения восточных оригиналов хивинских и бухарских челобитных и их русских переводов XVII века, выяснилось, что очень часто *общий ваш холон* в иноязычных текстах, написанных арабской графикой, имеет собственно тюркское соответствие ОРТАК ҚУЛУНГИЗ (ҚУЛУНГИЗ, ҚУЛУГИЗ); МуШТаРаК ҚУЛУНГИЗ (ҚУЛУНГиЗ). Русским словом *общий* были переведены или

тюркское ОРТАҚ или арабское МуШТаРАК, а словами *холоп ваш* переведено тюркское ҚУЛУНГИЗ.

Как нам кажется, в сочетаниях ОРТАҚ ҚУЛУНГИЗ, МуШТаРАК ҚУЛУНГИЗ – “общий ваш холоп” слова ОРТАҚ и МуШТаРАК – “общий”, хивинскими и бухарскими, а также другими восточными послами были употреблены потому, что они считали себя “холопьями” не только своих государей, но и других – московских, подчеркивая этим свой низкий уровень на иерархической лестнице по сравнению с адресатом. Авезбакей, посол хивинского царя Исфендеяра, в своей челобитной от 1 марта 1641 года на имя царя Михаила Федоровича писал: “Я у вас г(о)с(у)д(а)реи опчеи холоп ваш г(о)с(у)д(а)рской”. Данное предложение в тюркском оригинале имеет следующее соответствие ИКИ ПАДИШАХЭ ОРТАҚ ҚУЛМАН и дословно переводится: “я общий раб двум государям” (РГАДА). Интересно, что этот же посол в своей другой челобитной от 13 апреля 1641 года царю Михаилу Федоровичу сначала называет себя “холопом” двух государей – своего и московского, а потом лишь московского, хотя он являлся на самом деле “холопом” прежде всего хивинского хана: “Великому г(о)с(у)д(а)рю ц(а)рю и великому кн(я)зю Михаилу Федоровичу всеа Руси... Исфендеяра ц(а)р(я) посол опчеи холоп ваш Авезбакей челом бьет... м(и)л(о)стивыи г(о)с(у)д(а)рь [Михаил Федорович. – Д.К.] пожалуй меня холопа своего вели тех дву ч(е)л(о)в(е)к в Астарахани мне отдать а я б их свез в землю г(о)с(у)д(а)р(я) своего [Исфендеяра. – Д.К.]” (РГАДА).

Как уже было отмечено, устойчивое этикетное выражение *общий ваш холоп* употреблялось исключительно в старинных русских переводах тюркских челобитных среднеазиатских послов XVII века. Этим именованием адресанта среднеазиатские и другие восточные послы-челобитчики пытались проявить этикетное равное уважение к своим ханам и к правителям “всеа Руси”. В челобитных западных послов такое именование адресанта не использовалось. Несомненно, что *общий ваш холоп* является тюркской калькой.

Таким образом, обращение к широкому кругу архивных материалов дает возможность обнаружить новые факты, не нашедшие своего отражения в таком лексикографическом справочнике, как “Словарь русского языка XI–XVII вв.”. Это, в частности, касается рассмотренного нами устойчивого этикетного выражения *общий ваш холоп*, которое могло бы получить такое определение: *этикетная формула вассальной зависимости в челобитных среднеазиатских послов на имя русских царей*.

Республика Узбекистан,
Термез



“Великий муж русской грамматики” А. А. Барсов

Е. И. ДЕРЖАВИНА,
кандидат филологических наук

Память его почтенна не по одной обширной учености, которую ознаменованы все сочинения его, но и по возвышенной душе, исполненной честности и добродетели, которые таились под суровою наружностью, свойственной твердым характерам. Он столько любил науки, занимаясь ими всю жизнь свою, что не хотел никогда расстаться с ними; не хотел променять их на блистательные почести.

К.Ф. Калайдович

Антон Алексеевич Барсов родился в Москве в 1730 году. Отец его, Алексей Кириллович, родом из Ярославля, учился у Софрония Лихуды и был известным в Петровское время ученым-языковедом и переводчиком с греческого языка. Служил А.К. Барсов директором Синодальной типографии, справщиком библейских текстов, а также учителем греческого и латинского языков в Славяно-греко-латинской академии. Здесь стоит оговориться, так как участие А.К. Барсова в

исправлении текста Библии – вопрос спорный, и не все исследователи допускают его участие в этой работе. А.К. Барсов рано ушел из жизни, он был арестован по навету и умер в заключении.

Антон Алексеевич Барсов получил образование сначала в Славяно-греко-латинской академии в классе пиитики, а затем в гимназии при Академии наук в Санкт-Петербурге. Еще в 1718 году Петр I издал указ “сделать в Петербурге академию и приискать из русских, кто учен и к тому склонность имеет” (Смирнов С.К. История московской Славяно-греко-латинской академии. М., 1855). Выбор учеников был произведен уже после смерти Петра I. В 1735 году Елизавета Петровна повелела набрать из церковных училищ наиболее способных в латинском языке и других науках учеников. В Москву с этой целью был отправлен В.К. Тредиаковский, который выбрал несколько учеников – среди них был и Барсов. Впоследствии он вполне оправдал выбор Тредиаковского.

В Академическом университете учителями А.А. Барсова были Рихман, Тредиаковский, Ломоносов. Своими знаниями и прилежностью он вызывал похвалы у многих преподавателей. Академик Фишер, преподававший словесные науки, так отзывался о своем ученике: “Барсов очень остроумен, и легко нечто может заметить, понять и выдумать может. Он как в словесных науках, так и в философии с равною добротою упражнялся, и думаю, что он в каждой другой науке, а именно к которой он охоту имеет, со временем превзойти может”. Когда студентам было предложено выбрать курс наук для продолжения обучения и совершенствования в какой-либо области знаний, Барсов выбрал философию и астрономию. В 1753 году он окончил гимназию со степенью магистра и некоторое время обязан был преподавать там математику и заниматься переводами научных сочинений, которых в то время на русском языке было очень немного.

В 1755 году куратор Московского университета граф И.И. Шувалов пригласил А.А. Барсова занять кафедру математики, философии и свободных наук для обучения студентов латинскому языку и математике, а в 1761 году Барсов по поданному им прошению был переведен на кафедру красноречия, то есть русской словесности, на должность профессора и занимал ее в течение 30 лет. При торжественном вступлении на эту должность он произнес речь на русском языке “О пользе красноречия в Российской империи” (тогда более принятыми были речи перед университетской аудиторией на латыни). Произнесение публичных речей от имени преподавателей университета стали его обязанностью как профессора красноречия, а также как искусного оратора, прекрасно владеющего русским языком. Сохранилось довольно значительное число речей, произнесенных Барсовым по различным поводам. Они были признаны образцовыми и переиздавались даже в 1819 году.

В преподавание русской литературы Барсов ввел исторический принцип. Разбирая конкретное литературное произведение, он давал своим слушателям сведения о жизни писателя и об эпохе, в которую он творил. А.А. Барсов был знатоком современной ему русской литературы, а наивысшим ее проявлением считал сочинения Ломоносова. Читая курс классической литературы, он не забывал и российскую, сравнивая литературные приемы классических и русских поэтов. А.А. Барсов вводил в преподавание российскую грамматику, “чтоб слушатели его упражнялись в переводах и сочинениях на латинском и российском языках”.

В университете, несмотря на неизменно грозный вид, А.А. Барсов был одним из самых любимых и уважаемых студентами профессоров. Вот две выдержки из воспоминаний о нем студентов: «Старик был немного низкого роста, кубической толщины, имел огромное лицо и парик, профиль овальный, большой нос, от полного лица обвислые щеки, толстые выпуклые глаза, язык с присыком, говорил красно, писал сухо. С природною ему важностью соединял шутки и насмешку; богатый имел запас пословиц, бывал попеременно угрюм и весел; двойным оружием грозен был для всех. Не щадил едких упреков студентам в отлучках, в ошибках или рассеянии: “Добро пожаловать! Что, сударь, на вас голова или чайник?” Ошибся ли кто в анализе, в выговоре... или в сочинении на слове пропустит букву, или запятую в письме, передразнит, переиначит и шумит: “По вашему это малость! Нет, Сударь! из малого составляется большое... Какой из вас будет студент?”».

Другой его ученик, писатель М.Н. Муравьев, вспоминал: “Нрава он был непорочительной честности и важность его не мешала добросердечию и приятности обхождения. Он был уважаем в публике московской и имел приятелей в отличном классе людей”.

Н.М. Карамзин, большой почитатель А.А. Барсова, писал, что именно он научил его задумываться над словом. В своей небольшой статье о нем Карамзин показал человека, увлеченного одной всепоглощающей страстью к грамматике. Однажды, составляя для начальства документ и задумавшись над одной грамматической трудностью, был вынужден некоторое время голодать, сидя взаперти. При этом он считал, что грамматик должен учитывать явления живого разговорного языка и “должен быть добродушным и жалостливым, особливо к стихотворцам”.

А.А. Барсов долгое время был цензором университетских изданий, издателем и редактором Московских ведомостей, инспектором гимназий при университете, а также в 1763 году по проекту И.И. Бецкого сочинил Устав московского воспитательного дома. По мысли авторов проекта, в результате разработанной ими системы воспитания и образования из несчастных брошенных младенцев должны были вырасти

люди, полезные обществу либо своим ремеслом, либо умственной деятельностью.

В 1767 году Барсову было поручено написать для Комиссии по новому Уложению многие пункты по статье о дворянстве. Этот его труд не остался незамеченным. Екатерина II, собираясь писать свои “Записки” касательно российской истории, обратилась к И.И. Шувалову, и тот, в свою очередь, поручил А.А. Барсову сделать выписки из различных летописей, начиная с записей под 1224 годом.

По поручению Комиссии народных училищ А.А. Барсов написал “Российскую грамматику”. Это совпало с избранием его в Российскую академию, где он работал над составлением Словаря Академии Российской. Но А.А. Барсов предпочел этой работе написание учебника, которое совершенно поглотило его, хотя и составление словаря он рассматривал с точки зрения пользы в обучении грамматике: “Лексиконы также, или собрания слов, расположенные по алфавиту, то есть по порядку литер азбучных одной за другою, сверх главного их употребления в переводе на другие языки, весьма много способствуют и к правописанию” (Барсов А.А. Азбука церковная и гражданская, с краткими примечаниями о правописании. М., 1768). Вероятно, эта работа или отдаленность от Санкт-Петербурга не позволили ему более активно участвовать в составлении Словаря. Н.М. Карамзин писал о Барсове, что, он “живет единственно для склонений и спряжений, божится родами и видит во сне наречия”. Эта работа длилась с 1785 по 1788 годы.

В представленном комиссии обширном опусе автор предлагал очень оригинальные усовершенствования, а по тому времени просто революционные. Например, предполагалось исключить буквы *Ъ* и *И*, заменив их соответственно на *Ь* и *І* (такую же реформу предлагал и В.К. Тредиаковский); *Ө* как не имеющую отличий от *Ф* – исключить, а также упразднить *Ъ* после согласных в конце слова; в грамматике – ввести знак *io* для обозначения ударной гласной в словах *мед*, *лед* (лишь позднее Н.М. Карамзин для таких случаев внес буку *ё*). В работе над грамматикой Барсов учитывал взгляды современных ему европейских филологов и, конечно же, опирался на труды М.В. Ломоносова и В.К. Тредиаковского, но не дословно им следовал. Ф. Буслаев писал, что Барсов “оказывается в своей грамматике достойным последователем Ломоносова”. Грамматика не была напечатана, так как предложенная в ней реорганизация системы орфографии испугала Комиссию. Как писал Евг. Болховитинов, “мнение и привычки публики остались непреодолимы”. Комиссия рекомендовала сделать в Грамматике Барсова сокращения, а написать новую поручила другому автору.

В соответствии со своими правилами А.А. Барсов написал в 1768 году “Азбуку церковную и гражданскую с краткими примечаниями” и

статью “Свод бытий российских” (напечатанную в Московском журнале только в 1792 году Н.М. Карамзиным). Последняя представляет собой хронологический указатель событий русской истории, составленный по летописям и по истории Татищева. Это был только начальный этап задуманного труда, состоящего в расписывании всех возможных источников по истории России, предполагающего получение обширного и полного материала для историков.

А.А. Барсов изобрел также способ сокращенного письма на русском языке, что и описал в представленной на латинском языке диссертации “*De Brachygraphia*”. В ней он предлагал многие слова, особенно имена собственные и часто повторяющиеся, писать кратко, а некоторые – одной-двумя буквами. В периодических изданиях Академии наук, “Академических известиях”, издававшихся с 1779 по 1781 годы, некоторые статьи печатались по его правилам.

В 1770 году было издано “Собрание 4 291 древних русских пословиц” – этот труд Барсова был одной из самых ранних попыток собирания русских пословиц.

Глубочайшие познания в русском языке и словесности снискали А.А. Барсову уважение в литературных кругах и сделали его членом многих научно-литературных обществ, в том числе учрежденного в 1771 году И.И. Мелиссино при Московском университете Вольного Российского собрания (1771–1783). Барсов был его бессменным секретарем, а также издателем и редактором “Опыта трудов Вольного Российского собрания”. В вышедших шести частях А.А. Барсов поместил тексты своих речей, а также изданные им памятники истории русского языка. Когда собрание было упразднено и образовалась Российская Академия, он стал ее двадцатым членом, вслед за Г.Р. Державиным.

В 1789 году в Москве Барсов вошел в “Общество любителей учености”, целью которого было распространение знаний, просвещения. Он также был иностранным членом “Йенского латинского общества”, образованного поклонниками латинского языка (чтобы стать его членом, необходимо было совершенно изъясняться и писать на латыни).

Участие А.А. Барсова, человека, как он сам о себе говорил, “рожденного для грамматики”, в создании Академического словаря было поистине бесценно. Он сообщил свои критические замечания в общей сложности на семь листов словаря, а в апреле 1784 года прислал свои замечания и дополнения на букву А. Для грамматического отдела, в котором он состоял, Барсов предоставил свои рассуждения о правописании *Е* и *Ъ*, которые были прочитаны на одном из заседаний И.И. Лепехиным.

Умер А.А. Барсов 21 декабря 1791 года в Москве и похоронен в Спасо-Андрониковом монастыре. После его смерти обширный архив его был куплен А.И. Мусиным-Пушкиным. В последствии он сгорел, видимо, полностью в 1812 году.

*Диалектная лексика
в деловых документах
XVIII века*

О. В. НИКИТИН

Деловая письменность – еще до конца не оцененный пласт отечественной национальной культуры, вобравший в себя и приказные традиции древнерусского государства, и местные “деловые языки”, и колоритные формы диалектов, представленных в большинстве частных деловых актов. Причем употребление диалектной лексики определяется не только характером документа, позволяющего использовать в большей или меньшей мере слово, но и индивидуальными особенностями писца, территорией создания деловой бумаги, наконец, общей приказной культурой. Исследователи форм ее выражения не раз говорили о том, что в ней существует “всегда функционально оправданный набор речевых формул” (Колесов В.В. Древнерусский литературный язык. Л., 1989), по которым легко определить принадлежность текста к деловому стилю. Вот характерный пример из “Соборного уложения 1649 года” (М., 1987): “А которые всякие люди корчемников, и табатчиков, и питухов у голов, и у детей боярских учнут отбивать, и тем отбойщиком по роспросу и по сыску чинить наказание, бить кнутом на козле и по торгом, а иных батоги, чтоб на то смотря иным неповадно было так делать”. Но если официальные документы (законы, грамоты, судебники) имеют четко регламентированную структуру, редко допускающую в свой состав языковые отступления, то местная деловая письменность, созданная “по образу и подобию” центральных канцелярий, зачастую отступала от строгих правил, заполняя ткань документа пестрым языковым материалом. Это позволило в дальнейшем ученым-историкам и лингвистам исследовать региональную приказную культуру, быт, этнографию и, конечно же, язык отдаленных уголков России.

В этой связи представляется небезынтересным обратиться к подлинным источникам монастырской деловой письменности и показать лексическую наполненность и разнообразие ее диалектных форм в подобных документах.

Прежде всего локальная языковая культура находит свое выражение в таких письменных актах, где позволительно было “говорить от себя” и записывать “слово в слово”. Эти свойства делового документа как бы сообщали информанту и более свободную манеру изложения,

и, главным образом, позволяли воспроизводить его речь в подлинных красках. Так, необходимый контекст “допросных речей” выступал в том месте и в той функции, когда требовалось ситуативное “подкрепление” вопроса для придания ему большей достоверности: “...и не дошед до дому увидели оных ушаковых стоят при Иполитове доме с кольем как поддорожники...” (Крестный Онежский монастырь. Российский Государственный архив деловых актов; далее – РГАДА). Слово *поддорожник* в архангельских диалектах означает “грабитель на дорогах, разбойник, буян, драчун” (онеж., холм, пин.) (Подвысоцкий А.О. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885; Даль В.И. Словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. III). Экспрессивное использование слова как ругательства вызвано контекстом, далее читаем: “...и во первых ударили онного Силуяна... колом в голову от чего он упал...”

Указанные свойства чаще всего проявляются вкупе, обнаруживая большую или меньшую степень присутствия того или иного качества. Значительная степень “социальности” может достигаться при описании конкретного лица или обстоятельства: “а что я в пролубе еи не искал и того быт не надеялся, но полагался на то что разве в людях тулется и бегаёт...” (Там же). Слово *тулется* в значении “прятаться, скрываться, уклоняться”, употребляющееся в диалектах Смоленской губернии (Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852), не отмечено в “Словаре” А.О. Подвысоцкого в контекстуальной форме. Автор фиксирует следующее: “затулить, затулиться” в значении “прикрыться, заслониться”. У Даля: *тулить* – “прятаться, скрываться, хорониться, заслоняясь чем-либо, приседа, сгибаясь; притаиться”. В.И. Даль приводил любопытный фрагмент из Острожской Библии: “И мал и велик туляющиеся в горах”, из которого он сделал вывод о том, что “скрывать, прятаться” было исконным значением глагола, а не “гнуть”. Он же отмечал значения глаголов *тулиться*, *туляться* “прятаться, хорониться, укрываться, притаиться; уклоняться от дела, огуряться, лынять” (Там же). В Словаре Академии Российской помечено слово *тулиться* – “подаваться назад или посторониваться” (СПб., 1822. Ч. VI).

Еще один пример социально ориентированной формы выражения ситуативной коммуникации отмечаем при описании противоправных действий, также выраженных характерными “эмоциональными регионализмами”: “...он Иван в кабаки стал харапушит и в кабаки двери ломат и целовалник ево унимал и хозяин услышил и пришел в подвал и стал унимат Иван перестан в кабаки дурачит безвременно и он Иван на хозяина бросивши стал бит и хозяин... ушел от него Ивана и в то времен[и] у целовалника вина прошал безденежно стал целовалник вина без денег давать не стал и он Тороканов над целовалником харапушит стал и бит бросался...” (РГАДА). Примечательно, что в “Сло-

варе областного архангельского наречия” отмечается слово *харану-житься* – “храбриться, петушиться (холм.)” (Подвысоцкий. Указ. соч.). Этот диалектизм в других территориях имеет сходное звучание и значение, например, в тверских говорах – *харануга* “человек дерзкий” (Опыт областного великорусского словаря), “нахал, дерзкий человек” (Даль. Указ. соч.). Приведенный контекст позволяет выделить еще один оттенок значения, отмеченный самим писцом: *харанушишь* – “дурачить безвременно”.

В тяжбленных делах есть и другие местные слова, использование которых обусловлено названными функциями, например: “...чтоб не мог учинить утечки, притом же чтоб не было при нем ни ножа ни топора и ни другого какого орудия чем можно человеку повредится также и тяса и гойтяна все отобрать...” (РГАДА). В онежских говорах отмечается слово *гойтяжек* – “лямка у сарафана” (Подвысоцкий. Указ. соч.), в новгородских и тихвинских – *гойтан* или *гайтан* (Опыт областного великорусского словаря). В “Словаре русского языка XI–XVII вв.” его определяют как “шнурок” – *гайтан* *ременный*. В источниках XVIII века *гайтан* фиксируется в значении “шнурок, тесемка” с пометой “прост.”, а также производное *гайтаничик* – “тот, кто делает гайтаны” (Словарь русского языка XVIII в. Л., 1989. Вып. 5). Слово имеет широкое распространение в современных говорах северных регионов, в данном контексте скорее всего употребляется в значении “цепочка, на которой висел крест”, ср.: “Раньше религия была, так кресты на гаянях носили (онеж.)” (Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994. Т. 1).

Во многих случаях мы наблюдали фонетическую трансформацию слова, свидетельствующую не только об особенностях местного говора, но и характеризующую индивидуальную речь: “...взял вина суленку...” (РГАДА). В архангельских диалектах (онеж., холм., пин., мез.) фиксируется слово *сулейка* – “бутылка” (Подвысоцкий. Указ. соч.), то же значение отмечается и в других говорах со значением “бутылка и другая подобная стеклянная посуда” (Опыт областного великорусского словаря), а также *сулея* – “бутыль”, “небольшая бутылка” (Там же). У Даля: *сулейка*, *сулея* – “скляница, особ[енно] винная бутылъ, бутылка, полуштоф; фляга, фляжка, плоская склянка...” (Даль. Указ. соч.).

Приведенные примеры не единичны. Они позволяют утверждать, что структура делового документа не была замкнутой. С течением времени, особенно в провинции, регламентирующие приказный формуляр рамки постепенно раздвигались и допускали колоритные диалектные вкрапления.



Ивашка Хмельницкий – герой Петровского времени

*И. В. ГРАЧЕВА,
кандидат филологических наук*

Петр I среди напряженных реформаторских и военных трудов искал отдыха в веселых потехах. Но и они, как правило, кроме эмоциональной разрядки, имели иные, более значительные цели. Многолюдные процессии с ряжеными сопровождали торжества по поводу заключения важных мирных договоров или очередных военных побед. А скандальная деятельность знаменитого “Всешутейшего и всепьянейшего собора”, пародировавшая официальную церковную обрядность, исподволь подготавливала общество к упразднению патриаршества. Недаром возглавлявший собор шутовской князь-папа в то же время именовался “всея Яузы и всего Кокую патриархом” (Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1887. Т. 1).

На разгульных “соборных служениях” сподвижники Петра усердно поклонялись Бахусу. Благословляя вновь избранного участника собора, князь-папа напутствовал его: “Пьянство Бахусово да будет с тобою!” (Шутки и потехи Петра Великого // Русская старина. 1872. № 6).

Секретарь австрийского посольства И.Г. Корб, ставший в 1698 году свидетелем пародийной церемонии "освящения" нового московского дворца Ф.Я. Лефорта, рассказывал, что у шутовского патриарха "митра (...) была украшена Вахом, возбуждавшим своею наготою страстные желания. Амур с Венерою украшали посох, чтобы показать, какой паствы был этот пастырь" (Корб И.Г. Дневник поездки в Московское государство. М., 1867). Однако, несмотря на введение образов античной мифологии, сама идея "Всешутейшего и всепьянейшего собора" была позаимствована Петром из традиций русской народной смеховой культуры. "Национальным прообразом" этого "собора" А.М. Панченко называл "Службу кабаку", популярное произведение демократической сатиры XVII века (Панченко А.М. Русская культура в канун Петровских реформ. Л., 1984). Можно к этому добавить и "Калязинскую челобитную".

"Служба кабаку", переиначивая тексты церковной службы, под видом молящихся "во иноческом чину" представляла компанию завязтых бражников, не вылезающих из кабака: "На малей вечерни поблаговестим в малые чарки, таже позвоним в полведришки пивийшка..." (Русская демократическая сатира XVII века. Подг. В.П. Адриановой-Перетц. М.-Л., 1954). Вместо "Святой Боже, святой крепкий..." они поют: "Свяже хмель, свяже крепче, свяже пьяных и всех пьющих, помилуй нас, голянских" (Там же). А в "Калязинской челобитной" речь шла уже о действительно существовавшем Калязинском монастыре, братии которого приписывались самые разгульные свойства. Они якобы вместо того, чтобы служить у церковного алтаря, собирались вокруг ведра с пивом: "А коли мы (...) за правилом к вечеру утрудимся, до полуночи у пивного ведра засидимся и на утро встать не можем, где клобук с мантиею, не вспомним..." (Там же). Также и участники петровского "собора" заявляли о своем усердном, до полного изнеможения, "служении": "... Вином (...) чрево свое, яко бочку, добре наполняю; так что иногда и ядем мимо рта моего носимых от дрожания моя десницы в предстоящих в очесах моих мгле не вижду..." (Шутки и потехи Петра Великого).

В народных песнях, притчах, повестях наставником склонных к умеренным возлияниям молодцев выступал персонифицированный образ *Горя* ("Повесть о Горе-Злочастии", песни о Горе) или *Хмеля* ("Повесть о высокоумном хмелю" и др.). Эти привычные представления возобладали и в Петровское время, вытеснив чужеродного, плохо приживавшегося на русской почве Бахуса с его античной компанией. Однако образ *Горя* никак не сочетался с мироощущением эпохи мощного общественного и экономического подъема. Поэтому своеобразным "героем времени", постоянно попадающим на страницах переписки Петра и его сподвижников, стал озорной *Ивашка Хмельницкий*. Он прочно вошел в сознание людей самых разных социальных уровней и упоминался по любому поводу.

Сам Петр, отправившись с Великим посольством за границу, в письме 1 октября 1697 года к думному дьяку А.А. Виниусу оправдывался, что никак не успевает регулярно сообщать о себе в Россию: "... потому что иное за недасугом, а иное за отлучкою, а иное за Хъмелницким не исправишь" (Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1). Прослышав, будто оставленный в России представлять "государя" князь-кесарь Ф.Ю. Ромодановский слишком часто стал обращаться к своей заветной фляжке с домашней "перцовкой", Петр в гневе забыл все установленные им же самим правила этикета. И в послании 22 декабря 1697 года после самых изысканно-учтивых выражений ("изволите писать о вашем государском здравии", "писал я наипокорнейши к вашей пресветлости" и т.д.) вдруг сделал неожиданную приписку: "Перестань знатца с'Ывашкою, быть от него роже драной" (Там же). На что грозный глава Преображенского приказа с невозмутимым достоинством отвечал: "Неколи мне с'Ывашкою знатца: всегда в кровях омываемся; ваше то дело на досуге стало знакомство держать с'Ывашкою, а нам недосуг" (Там же).

А.А. Виниус, сообщая Петру последние новости (15 октября 1668 г.), замечал, что двое престарелых москвичей, Сунбулов и Супонев, видимо, недолго проживут: "один зельно стар, а другога тащит Ивашко" (Там же). В феврале 1699 года сам князь-папа Н.М. Зотов писал Петру, находившемуся в дальней поездке, обращаясь к нему как к участнику "собора": "Нашего смирения сослужителю, геру протодиакону...". Поздравляя его с масленицей, Зотов шутило напоминал: "...Толко ведайте: есть при ней иные товарищи, Ивашка да Еремка, и вы от них опаситесь, чтоб они вас от дела не отволокли, а мы их дружбу знаем болши вашего" (Там же). Характерно, что даже "святейшему Ианиките" *Ивашка Хмельницкий* оказался ближе Бахуса, изображенного на его митре; а доморощенный Ивашкин приятель *Еремка* стал олицетворением того, что связывалось с именем Венеры и Амура вместе взятых.

У *Хмельницкого* была своя родословная, восходящая к Бахусу. Так, в письме А.А. Виниуса 26 марта 1697 года, сообщавшего о московском празднестве по поводу победоносного столкновения казаков с крымскими татарами, есть такая фраза: "... И тут за здравие послов и храбрых кавалеров, а паче за государское, так подколотили, что Бахус со внуком своим Ивашкою Хмельн. надселся со смеху". А в письме 15 октября 1698 года он же, рассказывая о праздновании очередной победы петровских войск, упоминал иную степень родства этих мифических персонажей: "Ивашко с дядею своим" (Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1).

Впрочем, характер свой *Ивашко* явно наследовал от Горя-Злочастия, и встречи с ним частенько заканчивались бедами. Петр, находясь за границей, 24 сентября 1709 года писал супруге Екатерине о проис-

шествии, приключившемся со знакомым придворной дамы А.К. Толстой, которую именовал “теткой”: “А жених и третьево дни виделся горазда с Ивашкою, и упал на судне с кровльи на дверь, и теперь лежит немощен, чего для побереги тетку, чтоб не сокрушалась”. Екатерина, вполне осведомленная о неблагоприятных свойствах *Ивашки*, 5 июля 1719 года в послании Петру не без некоторого изящества передавала о печальном дворцовом случае: “Которой француз делал новые цветники, шел он бедненкой ночью чрез канал, сшолся с ним напротив Ивашка Хмелницкой, и каким-та побытом с того мосту столкнув, послал на тот свет делать цветников” (Письма русских государей и других особ царского семейства. М., 1861).

Если в “Калязинской челобитной” и “Службе кабаку” винопитие уподоблялось церковным обрядам, а в “Повести о Горе-Злочастии” лейтмотивом стало преследование *Горем* молодца, безуспешно пытавшегося от него бежать, то Петровская эпоха с ее непрекращающимися войнами внесла свои коррективы: теперь и веселое застолье сравнивалось с баталией, где противником выступал тот же *Ивашка*.

Петр, оставив членов Великого посольства в Голландии, сам отбыл в Англию. Долго не получая от него корреспонденции, послы начали уже тревожиться, но наконец пришло царское письмо с самыми добрыми вестями. Думный дьяк П.Б. Возницын 1 марта 1698 года отвечал Петру: “И той ради радости, призывав честно друга своего Ивашку Хмелницкого и ево сродников, такой с ним бой учинили, какого не возможно болши быть...” (Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1). Мастера-корабельщики Федосей Склеяев и Гаврила Меншиков с товарищами, трудившиеся на верфях в Воронеже, узнав о взятии русскими войсками Ниеншанца, писали Петру 16 мая 1703 года о пире, устроенном для них на радостях Ф.М. Апраксиным: “А с’Ываном бились весь день у Федара Матьвеевича; были зело шумны” (Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1889. Т. 2).

Как и на войне, исход подобных “сражений” мог быть различен. Один из офицеров Преображенского полка А.А. Вейде 15 июня 1699 года писал Петру о том, как по поводу благоприятного хода Азовской кампании он собрал у себя гостей, но “Ивашка Хмелницкой з Бахусовой пехотою частою и скорою стрелбою так сильно приступал, что принуждены были силу свою потерять и от того с полуночи по домам бежать” (Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1).

Фельдмаршал Б.П. Шереметев, представитель старой боярской знати, также усвоил аллегорический язык нового времени. В письме Петру 27 ноября 1715 года он образно живописал, как вместе с сослуживцами отмечал рождение царевича Петра Петровича: “И умысля над нами Ивашко Хмельницкой, незнаемо откуда прибыв, учал нас бить и по земле волочить, что друг друга не свидали. И сперва напал

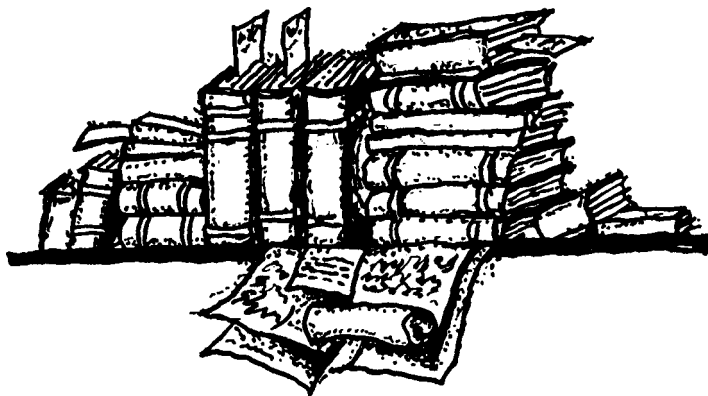
на генерал-маеора Леси, видя его безсильна, ударил ево в правую ланиту и так ево ушиб, что не мог на ногах устоять. А потом генерала-маеора Шарфа изуевичил без милости". С пришедшим им на помощь Репниным "Хмельницкой воровски зделал, под ноги ударил – и на лавку не попал, а на землю упал. И я с Глебовым, видя такую силу, совокупившись, пошли на него, Хмельницкого, дескурацией и насилу от него спаслися (...) Я на утрее опамятовался на постеле в сапогах без рубашки, только в одном галстухе и парике. А Глебов ретировался под стол и, пришедши в память, не знал, как и куда вытить" (Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1985).

По аналогии с этим героем впоследствии в русский обиход войдут и другие. Так, *Храповицкий* заменил в просторечии мифологического *Морфея*, окружив себя родичами: *Сопиковым*, *Полежаевым*, *Завалишиным* и т.д. А суровый *Кондратий* стал грозой для чересчур полнокровных купцов и помещиков. Характерно, что эти игровые элементы русской речи не имели социального ограничения и охотно воспринимались людьми разных сословий.

Рязань



Из истории грамматики



О происхождении суффикса -онн(ый)

О. А. ДУБКОВА

В современном русском языке имена существительные на *-мя* составляют особое склонение, отличающееся наличием двух основ – именительного падежа и более длинной косвенных падежей: *им(я)* – *им-ен(и)*, *сем(я)* – *сем-ен(и)*. Характерно, что прилагательные образуются от более длинных основ косвенных падежей: *имен(и)* – *им-ен-н(ой)*, *семен(и)* – *сем-ен-н(ой)* и т.д.

Такое явление довольно распространено в латинском языке: им. п. *pensio* “платеж” – род. п. *pensi-on(is)*, им. п. *portio* “часть, доля” – род. п. *porti-on(is)*. Заимствование латинских слов, характеризующихся наличием двух основ, дало в русском языке своеобразную словообразовательную модель.

Так, в Петровскую эпоху русский язык параллельно заимствовал (возможно, не без посредства западноевропейских языков) такие существительные, как *пенсия* и *пенсион*, *порция* и *порцион*, *инструкция* и *инструкцион*.

По данным словаря Н.А. Смирнова, с начала XVIII века в русском языке появляются существительные *пенсия*: “Ему во время жизни его ежегодная... пенсия определена” и *пенсион*: “(Его Величеству) угодно... чтоб ... Герцогу Фердинанду... годовый пенсион во время жизни был дан” (Полное собрание законов, 1713–1719. Т. V). Со словообразовательной точки зрения, слово *пенсия* является словообразовательным переоформлением латинского существительного *pensio* “пла-

теж” в форме именительного падежа, а слово *пенсион* – в форме косвенных падежей, где происходит удлинение основы – род.п. *pensi-on(is)*.

Отметим, что западноевропейские языки заимствовали латинское существительное *pensio* “платеж” в форме косвенных падежей, например: французское *pension*, немецкое *Pension*, английское *pension* и т.д. Несмотря на то, что существительные в западноевропейских языках имеют одинаковое графическое написание, произношение, близкое к латинскому, имеет только немецкий язык.

Таким образом, латинское существительное *pensio* “платеж” вошло в русский язык в двух формах: в форме именительного падежа – *пенсия* и в форме косвенных падежей – *пенсион*, возможно, через европейские языки.

По значению рассматриваемые существительные дублетны. И за активным словом *пенсия*, и за устаревшим в современном языке словом *пенсион* закрепилось значение “периодической... денежной выплаты, имеющей целью материальное обеспечение граждан при утрате ими работоспособности, при потере кормильца и пр.” (Словарь современного русского литературного языка. В 17-ти тт. Далее – ССРЛЯ). Правда, существительное *пенсион* уже почти вышло из активного употребления, но еще встречается в литературе: “Сюда приезжают отставные чиновники, которых пенсион не превышает пяти-сот рублей в год” (Гоголь. Портрет). Поэтому хотя существительное *пенсион* и фиксируется словарями, но носит оттенок устарелости.

Так же в русский язык XVIII века вошли и существительные *порция* и *порцион*, *инструкция* и *инструкцион*. Как правило, существительные на *-ия* вытесняют из активного употребления существительные на *-ион*. Так, слово *порцион* еще фиксируется современными словарями (с пометой *устар.*), а *инструкцион* уже нет.

Прилагательные же *пенсионный*, *порционный* и *инструкционный* скорее всего первоначально соотносились с существительными *пенсион*, *порцион* и *инструкцион*. При этом в образовании принимал участие суффикс *-н(ый)*. Постепенно соотношение производного и производящего изменяется. Существительные *пенсион*, *порцион* и *инструкцион* выходят из активного употребления, и прилагательные начинают соотноситься с оставшимися существительными *пенсия*, *порция* и *инструкция*. Таким образом, изменяется как производящая основа, так и словообразовательный формант. При соотношении прилагательных *пенсионный*, *порционный* и *инструкционный* с существительными *пенсия*, *порция* и *инструкция* произошло переразложение слов на *-ион*: *пенсион*, *порцион* и *инструкцион*, в результате чего конец исторической производящей основы и суффикс *-н(ый)* слились в единую новую морфему *-онн(ый)*.

В современном языке за данной словообразовательной единицей закрепляется определенная позиция: “после суффиксов *-ациj-*, *ициj-*, *-циj-* она примыкает к непроемной основе мотивирующих имен су-

ществительных женского рода иноязычного происхождения на *-ция*, реже на *-зия*” (Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. М., 1996).

Модель образования на *-онн(ый)* начинает действовать и в тех случаях, когда иноязычного существительного, представляющего собой словообразовательное переоформление основы косвенных падежей (типа *пенсион*, *порцион*, *инструкцион*) не существовало в русском языке. И таких примеров довольно много: *диссертаци(я)* – *диссертаци-онн(ый)*, *интервенци(я)* – *интервенци-онн(ый)*, *инфекци(я)* – *инфекци-онн(ый)*, *инфляци(я)* – *инфляци-онн(ый)*, *интонаци(я)* – *интонаци-онн(ый)*, *конституци(я)* – *конституци-онн(ый)*, *кремаци(я)* – *кремаци-онн(ый)*, *ликвидаци(я)* – *ликвидаци-онн(ый)*, *навигаци(я)* – *навигаци-онн(ый)*, *оккупаци(я)* – *оккупаци-онн(ый)*, *провокаци(я)* – *провокаци-онн(ый)*, *радиаци(я)* – *радиаци-онн(ый)*, *реабилитаци(я)* – *реабилитаци-онн(ый)*, *революци(я)* – *революци-онн(ый)*, *регистраци(я)* – *регистраци-онн(ый)*, *репетици(я)* – *репетици-онн(ый)* и т.д.

Модель образования прилагательных на *-онн(ый)* оказалась в языке настолько сильной, что втягивала и слова, не имевшие в исторической производящей основе удлинения *-он-*. Так, русское существительное *милиция* восходит к латинскому *militia*, не претерпевавшему никаких изменений в форме косвенных падежей – род.п. *militiae* (ср. с западноевропейскими заимствованиями: франц. *milice*, англ. *militia*). Несмотря на это, наряду с закономерным прилагательным *милиейский* в современном языке существует устаревшее прилагательное *милиционный*, которое образуется по аналогии с прилагательными, восходящими к более длинной (с элементом *-он-*) основе косвенных падежей латинского существительного, типа *диссертация* – *диссертационный* (сравним: лат. род.п. *dissertationis*, франц. *dissertation*, нем. *Dissertation*).

Прилагательное *милиционный* носит оттенок устарелости, так как его значение связано с устаревшим значением существительного *милиция* – “армия, состоящая из некадровых военных ..., добровольная армия, создающаяся в особых условиях; народное ополчение” (ССРЛЯ). В то время как прилагательное *милиейский* относится к милиции как административному учреждению по охране порядка и общественной безопасности, то есть к современной реалии.

При словопроизводстве прилагательного *милиейский* наблюдается чередование *и/е*. По мнению В.Г. Чургановой, “русификация интернациональных слов переводит их [слова на *-ция*] в группу слов с субморфом *е*” (Чурганова В.Г. Очерк русской морфологии. М., 1973). Сравним: *гвардия* – *гвардейский*, *полиция* – *полицейский* и т.п. Это весьма характерно для народного языка, например, литературное *Россия* и просторечное *Россея*, а также *партийный* – *партейный*.

Некоторые образования на *-онн(ый)* входят в более сложную структуру. Так, с существительным *демонстрация* в современном языке соотносятся два прилагательных: *демонстрационный* и *демонстративный*. В первом случае мы наблюдаем словообразование при помощи суффикса *-онн(ый)*, во втором *-ивн(ый)* с чередованием согласных основы *ц/т*. Отметим, что чередование *ц/т* пришло в русский язык также из латинского языка, где *t* перед *i* и последующим гласным переходит в [ц].

В русском языке существительное *демонстрация* многозначно, и прилагательные *демонстрационный* и *демонстративный* соотносятся с разными его значениями. Так, прилагательное *демонстрационный* связано со словом *демонстрация* в значении “показ чего-либо” (ССРЛЯ). В этом значении существительное *демонстрация* близко такому слову, как *демонстрирование*. Отметим, что проблема словообразовательного соотношения прилагательного с глаголом (*демонстрировать*) и связанными с ними названиями лица (*демонстратор*) оставлена в стороне.

Прилагательное же *демонстративный* соотносится с такими значениями существительного *демонстрация*, как “ложное движение (угрожающего характера) войск, флота...”; “действия угрожающего характера...”; “вызывающий, подчеркнуто выраженный” (Там же).

С точки зрения исторического словообразования, прилагательные *демонстрационный* и *демонстративный* являются заимствованиями. Производящей основой прилагательного *демонстрационный* была, как говорилось ранее, основа косвенных падежей латинского существительного *demonstration* (сравним: основа именительного *demonstratio*) или основа западноевропейских существительных, например, французское *demonstration*, английское *demonstration*, немецкое *Demonstration* и т.п.

Прилагательное *демонстративный* восходит к латинскому прилагательному *demonstrativ(us)* и является его словообразовательной русификацией. В этом случае исконно русский суффикс *-н(ый)* является дополнительным, так как он не образует, а лишь словообразовательно оформляет иноязычную основу прилагательного. В западноевропейских языках латинское прилагательное на *-iv(us)* оформляется уже без дополнительного суффикса, например, французское *demonstratif*, *-ve*, английское *demonstrative*, немецкое *demonstrativ*.

Таким образом, в современном русском языке продолжают жить две латинские основы: основа косвенных падежей существительного – *демонстрацион-* и основа прилагательного – *демонстратив-*. В результате переразложения производящих основ (при соотношении с существительным *демонстрация*) появляются такие морфемы, как *-онн(ый)* – *демонстраци-онн-ый*, которая восходит к основе косвенных падежей латинского существительного, и *-ивн(ый)* – *демонстра-ивн(ый)*, ко-

торая образуется на русской почве в результате словообразовательного переоформления латинского прилагательного. А суффиксы *-онн(ый)*, и *-ивн(ый)* представляют собой слияние элементов иноязычной основы (*-оп-* и *iv-* соответственно) и исконно русского суффикса *-н(ый)*.

Аналогично образование прилагательного *иллюстраци-онн(ый)* и *иллюстрат-ивн(ый)* от *иллюстраци(я)*, *инструкци-онн(ый)* и *инструкт-ивн(ый)* от *инструкци(я)*, *информаци-онн(ый)* и *информат-ивн(ый)* от *информаци(я)*, *операци-онн(ый)* и *операт-ивн(ый)* от *операци(я)* и т.п.

Следовательно, прилагательные на *-онн(ый)* исторически восходят к латинским существительным в форме косвенных падежей (на *-ион*), имеющим более длинную основу по сравнению с именительным падежом. В результате переразложения производящей основы (соотнесения не с историческим производящим, а современным) произошло слияние латинского конца исторической производящей основы *-оп-* и исконно русского форманта *-н(ый)* в единую современную морфему *-онн(ый)*.





КАДАШИ И БАРАШИ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

А. Л. ШИЛОВ

Существуют в Москве *Кадашевская набережная*, *Кадашевские* (Замоскворечье) и *Барашевский* переулки (около Покровки в бывшем Белом Городе). Эти названия унаследованы от старых московских слобод: *Кадашевской* и *Барашевской*. Следовательно, происхождение их названий и надо выяснять.

Село *Кадашево* известно с 1504 года (названо в духовной Ивана III), хотя явно возникло ранее, ибо уже в 1498 году здесь существовала деревянная церковь Воскресения Христова. *Кадашевская слобода* ткачей близ церкви появилась в начале XVI века. В слободе был основан государев *Хамовный двор* и слобода стала называться *Кадашевская хамовная* (т.е. ткацкая, от *хам* – ткань, полотно) *слобода*. В 1687–1695 годах на углу нынешних 1-го и 2-го Кадашевских переулков была построена каменная слободская церковь Воскресения “в Кадашах” (на месте прежней церкви, которая уже в 1657 году была каменной и именовалась Воскресение “На Грязи”).

Версии о происхождении названия *Кадаши* высказывались разные, подчас анекдотичные. Например, допускали, что здесь раньше жили татарские духовные судьи – *кадии* (хотя иноземного судопроизводства в Москве никогда не было). Наибольшее же признание авторов, пишущих о московских названиях, получила версия, в разных работах излагаемая в целом одинаково, подчас дословно повторяясь (Сытин В.В. Откуда пошли названия улиц Москвы. М., 1959; Имена

московских улиц. М., 1988; Смолицкая Г.П., Горбаневский М.В. Топонимия Москвы. М., 1982; Смолицкая Г.П. Названия московских улиц. М., 1996). Она предполагает, что до XVI века слобода была населена не хамовниками (ткачами), а бондарями, изготовлявшими *кади* (кадушки, бочки), почему и местность получила название *Кадаши*. Вариант версии: *кадаши* – это мастера-кадочники, бочары, бондари.

Со временем предположение переросло в уверенность: “А как возник топоним *Кадаши*? ... Оказывается, что ткачи устроили свою слободу на месте прежней слободы великокняжеских бондарей, которые изготавливали бочки – *кади*. Поэтому-то место, где первоначально жили и работали бондари, кадники, и получило наименование *Кадаши*... Слово *кадаш*, означающее “мастер-кадочник, бочар, бондарь”, в наше время вышло из употребления, в русской речи не встречается и поэтому кажется непонятным, но еще в XIX веке оно было употребительно не только в речи москвичей, но и во владимирских и рязанских говорах” (Горбаневский М.В. Московведение. М., 1997).

Так ли это? Ведь никаких исторических свидетельств о былом проживании в Кадашах бондарей (кадников) не имеется, на что справедливо указал С.К. Романюк (Из истории московских переулков. М., 1988). Более того, слово *кадаш* (от *кадь*, *кадка*) вряд ли могло возникнуть на русской почве, ибо в русском языке названия по профессии, роду деятельности образовывались с помощью суффиксов *-ник*, *-арь*) и др., но никак не *-аш*. Последний вообще относительно малоактивен в русском словообразовании. Для исконных русских слов “Обратный словарь русского языка” (М., 1974) дает (исключая клички и породы собак типа *легаш*, *кудряш*, *мордаш*, *пегаши*) лишь неодобрительное и уничижительное *торгаши*, да уменьшительные *кругляши*, *племяши*, *мураши* (сюда можно добавить еще современное неодобрительно-уничижительное *алкаши*).

Слово *кадаш* закономерно отсутствует и в письменных источниках. В них мы встречаем только название самой Кадашевской слободы и ее жителей: ...и с *Ординцы* и с *Кадашевым* (1572–1578), *слобода Кадашева* (1649), *кадашевицы* (1678). Недаром этого слова нет ни в “Материалах” И.И. Срезневского, ни в “Словаре русского языка XI–XVII вв.”, ни в “Словаре русского языка XVIII в.”, ни в этимологических словарях русского языка А. Преображенского и М. Фасмера.

Слово *кадаш*, *кадыш* “бочар, бондарь, кадочник” (якобы рязанское) впервые появляется в “Опыте русского простонародного слово-толковника” М.Н. Макарова (Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Заседание 25 окт. 1847 г. № 3. Отд. IV), который уже современниками был воспринят весьма критически, а в наше время был уличен в фальсификации: изобретении рязанского же слова *коломень* “ближайший округ, подле, соседство” для объяснения названия *Коломна*.

(Добродомов И.Г. Город Коломна. Топонимический этюд с историко-ведческими экскурсами // Топонимия России. М., 1993).

Тем не менее, это сомнительное слово было включено в “Опыт областного великорусского словаря” 1852 года и в словарь В.И. Даля, откуда перекочевало в “Ономастикон” С.Б. Веселовского и “Словарь русских народных говоров”, сопровождаясь единственной иллюстрацией — словами песенки “Наехали кадаши, из Мещеры торгаши”. Видимо, этим сомнительным примером (ведь в песенке не говорится, что такое *кадаш*) руководствовался Ю.А. Федосюк (Русские фамилии. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1996), когда, говоря о происхождении фамилии *Кадашиов*, указал, что *кадаш* это не только мастер, изготавливавший бочки, кади, но и продавец этого товара. Показательно, что в одной словарной статье Ю.А. Федосюк объединил фамилии *Кадашиов* и *Кадочников*.

Таким образом, изобретенное на основе топонима *Кадаши* слово *кадаш* “изготовитель кадей” не только все более уверенно становится фактом русской языковой истории (в популярных изданиях), но и искусственным путем расширяет свою семантику. Приведенные же данные говорят о том, что слово это не “вышло из употребления”, а попросту никогда не существовало.

Следует, наверное, согласиться с Е.М. Поспеловым (Историческая география Москвы в зеркале топонимики // Вопросы географии М., 1985. Вып. 126): “Кадашевская хамовная (ткацкая) слобода свое название ведет, по-видимому, не от первоначальной специализации жителей на изготовлении кадей, бочек и других бондарных изделий, а от имени *Кадаш* или фамилии *Кадышев*, указываемых С.Б. Веселовским для XVI–XVII вв.”.

Действительно, наиболее вероятно происхождение ойконима *Кадашево* (напомним, что именно в такой форме, как имя селения, впервые зафиксировано обсуждаемое название) из имени *Кадаш*. Вероятно, село это изначально принадлежало какому-то татарину, ибо в тюркских языках существует слово *кадаш* “друг, товарищ”. На это указал и С.К. Романюк (Москва. Утраты. М., 1992), полагая, однако, что в древнерусском данное слово осмыслялось как “общинник”, т.е. подразумевая уже собственно русскую подоплеку названия села. Кстати, В.И. Даль приводил южнорусское *кодаш* “приятель”, явно заимствованное из указанного тюркского источника.

Спрашивается, отчего мы сразу не привели это простое объяснение? Единственно для того, чтобы на конкретном примере продемонстрировать легкость возникновения опасного для науки (и читателей) мифо- и словотворчества, еще бытующего, к сожалению, в работах, посвященных происхождению географических названий.

А что же *Барашевская слобода*, *Бараш*? Здесь, кажется, все в порядке. Известно, что в слободе с XV века жили некие *бараш* (в неко-

торых документах – *барыши*), и слово это неоднократно встречается в документах XV–XVII веков: “На старший путь ему в Москве и в станех конюшей путь, бортники, садовники [псаря], бобровники, барыши и делюи. А тех... барышов и делюев...” (1410 г.); “Десят шандамов серебряных у бараша у моего у Волоха у Суседова” (1509 г.); “Бил челом нам Барашския слободы староста Иванко Корцев и со всех барашей место, а сказал: от Московского де разорения служат они нашу Шатерную службу в наших походах и тягло тянут достальными людьми” (1615 г.); “А пошлин в государеву казну... имати у бояр и у околничих... и у кадашевцов и у барашей и у садовников” (1649 г.).

Итак, слово *бараши* является реалией, а не мифом. Правда, не вполне ясно, чем же конкретно занимались *бараши*. Вот что об этом говорят разные авторы: “...*Барышами* и *Делюями* именовались особенного роду наймиты, которым давались земли с обязательством платить господину оброк” (Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. V). Предположение Н.М. Карамзина основано лишь на тексте завещания Андрея Дмитриевича Серпуховского 1410 года, “Бараши – шатерничие” (Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893. Т. 1); “*Бараши* – придворный шатерничий, обойщик” (В.И. Даль); “*Бараши* – шатерничий (придворный ремесленник)” (Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. М., 1910–1914. Ч. 1); “*Бараши* – шатерный мастер, обойщик царского двора (придворный ремесленник)” (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1973. Т. I); “*Бараши* – 1. Лицо, ведающее шатром князя; 2. Ремесленник (*шатерник*, *обойщик*)” (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975. Вып. 1); “*Бараши* – царские слуги, возившие за царем походные шатры” (Сытин В.В. Указ. соч.; Имена...); “...бараши – шатерники. Во время военных походов князей и государей они строго следили за установкой шатров и сохранностью всего шатрового убранства” (Смолицкая. Указ. соч.); “*Барыши* – смотрящие за княжеской рухлядью” (Добродомов И.Г., Кучкин В.А. Делюи средневековой Руси // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998. М., 2000).

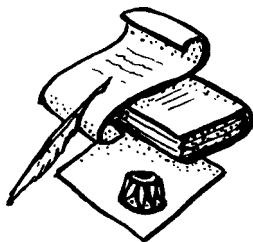
Почему же в трактовке слова *бараши* наблюдается такой разноречивый: “шатерничий; обойщик; придворный ремесленник” и тому подобные? Для выяснения этого вопроса обратимся к происхождению самого этого слова в русском языке. Источником его, согласно “Арабско-русскому словарю” М.О. Аттая, является арабское *фарраши* “ремесленник, делающий постели”. Эта версия приведена в этимологических словарях русского языка А. Преображенского и М. Фасмера. Сочетание приведенного значения арабского слова с тем, что дает уже цитированный нами документ 1615 года (“шатерничий”), судя по всему, и породило указанные семантические фантомы.

А дело в том, что М.О. Аттая допустил неточность в переводе на русский арабского слова *фарраши*, которое на самом деле означает не

“ремесленник”, но “слуга, служитель, уборщик; сторож”, происходя от глагола *фараиш* “стелить, устилать; мостить, мебелировать” (Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. М., 1970. II).

От арабов к русским слово это попало скорее всего не напрямую, а через тюркское посредство, благодаря которому начальное *ф*- (отсутствующее в тюркских языках) закономерно перешло в *б*-. Арабская этимология объясняет и вариант *барыш* (наряду с *бараиш*), который может восходить (опять-таки через тюркское посредство) к арабскому действительному причастию *фариш* “стелющий и т.п.”, синонимичному имени деятеля *фарраиш*.

Таким образом, русское *бараиш* должно было означать нечто вроде “служитель, смотрящий (при княжеском походном шатре)”.





“Цвели во поле цветочки...”

В. Ф. ФИЛАТОВА,
кандидат филологических наук

Цветы и травы издавна привлекали к себе внимание своей красотой, целебными свойствами. В любимой народом книге “Беседы на шестоднев” Святитель Василий Великий так размышлял о них: “Когда видишь на траве зелень и цвет, приведи себе на мысль человеческое естество, припоминая изображение мудрого Исаии: всякая плоть – трава, и всякая красота ее – как цвет полевой”.

Рассмотрим понятие *цветы/травы* в народной духовной культуре Воронежского края на примере фольклорных текстов: “Воронежские народные песни (в современной записи)” / Под ред. проф. С.Г. Лазутина. Изд-во Воронежского ун-та, 1991; “Народные песни Воронежского края. Антология”. Воронеж, 1993; “Сказки А.Н. Корольковой”. Воронеж, 1972, а также полевых записей, сделанных в конце XX века.

Параллелизм жизни человека и растения касается не только процессов физиологии (оба рождаются, достигают зрелости, дают потомство, стареют и умирают), но и цветения-любви во всех возможных его вариантах: раннее (преждевременное), зрелое (в пору), запоздалое, счастливое, несчастливое и др.

Приведем примеры этого поэтического параллелизма:

Я посею ли, млада-младёшенька,
Цветиков маленько,
Цветы станут цвести, расцветати,
Сердце надрыватьи...

Уж ты сад, ты мой сад,
Сад не рано цветет,
Ох, да осыпается,
Да куда ж, милый друг, собираешься...

Ах, кабы на цветы да не морозы,
И зимой бы цветы расцветали...

Символом одиночества, покинутости, безлюбия являются поблекшие цветы, увядшие, осыпавшиеся листья, бесцветность, безлиственность:

Цвели во поле цветочки, ох, поблекли,
Любил меня миленький, ох, покинул...
Все мои цветочки у тебя, у тебя (остались в прошлом. – В.Ф.)...
Ой – да уж ты кустик,
Да ты мой кусточек,
И – а – ой – да одинёшенек в поле стоит,
Ох, одинёшенек в поле стоит.
И нет, ой – да нет листочка на нем,
Ни цветочка да нет ...

Был сад зеленый,
И тот засыхает ...

Один был у меня любезный,
И тот меня покинул.

Мотивы срывания цветка, завивания венка из зелени и цветов, хождения по траве/цветам, вытаптывание травы и цветов олицетворяют любовное соединение.

Сопряженная с цветами и цветением тема любви, представленная в народной песне, порождена прежде всего самим образом прекрасно-го цветка как органом растения, дающим плод. Реалия, служащая в фольклоре метафорой любви, выбрана глубоко закономерно.

По тем цветам ходил-гулял,
Ходил-гулял Иван сударь Иванович,
Сорвал цветок, завил венок...

Как на этот на ленок
Повадился паренек,
Весь ленок притолок,
Со льну цветы посорвал,
В быстру реку побросал...

Не топчи, бел-кудрявый,
Зеленую мяту,
Не для тебя я садила,
Я поливала.

Свет девчонка гуляла,
Цвет калину ломала.

Свадебный обряд, имеющий своим содержанием изменение статуса невесты (девушка → женщина), включает завивание, закручивание волос, укладывание их в форме венка вокруг головы. В с. Богана Борисоглебского района этот обряд называется *Веночек*: “Посадят жениха с невестой. Мать крестная расплетает косу. Все поют Веночек: Эх, недолго веночку у Настеньки висеть. Недолго нашей Настеньке в девушках сидеть. Прислал сударь Иван сватушку, знаю, да не радостная. Зачали косу рвати и метать мою русую кругом головы. Эх, да кругом головы! Эх, вечер, мою русую в девушках плели”.

Слово *веночек* в контексте обряда означает женскую прическу; головной убор невесты из искусственных, традиционно восковых цветов (“ясненьких”). Вместе с тем возникают ассоциации с венком из живых трав и цветов как символом девушки в семицких обрядах гадания о замужестве и вообще о судьбе. Любопытно, что в лирических и обрядовых песнях срывать цветы с целью завивать венки может как парень, так и девушка. Венки, следовательно, символ брака (как и кольцо). А.Н. Афанасьев указывает: венки издревле служили эмблемой любви и супружеской связи.

Цветок в воронежском свадебном обряде – атрибут как невесты, так и жениха: “Невесту одевала старша дружка, убирала ее в кофту красивую та юбку рясну, фата длинна была да квитку гарну чипляли” (х. Морозовка, Калачеевский район); “Наш барт-то юбочку и кофточку, спокон века фата, цветочки венчалные белые ясненькие” (с. Танцрей, Борисоглебский район).

Цветком украшали костюм жениха и его головной убор. В с. Верхний Карабут Подгоренского района бытует обряд *Скидать цветок*: “Приведут с-пид венца, скидают цветок с нее, надевают платок, теперь вже ты не девушка, а замужняя”.

Обряд еще раз подтверждает описанную выше семантику мотива срывания цветов. Белые цветы (искусственные в свадебном венке, ветки с цветами калины на каравае) – символ невинности, чистоты: “Обязательно украшения были на каравае (веточки калины), они показывали невинность невесты” (с. Верхний Карабут, Подгоренский район).

Обряды с близкой семантикой бытуют и в сопредельных с воронежским регионах. В Михайловском районе Волгоградской области

до последнего времени соблюдался обряд *Розочки раздавать*, связанный с первой брачной ночью: если невеста “честная”, то ее родственники одариваются красными искусственными цветами, если нет – цветы остаются в корзине. В поселке Красный Луч Мучкапского района Тамбовской области О. Шукиной записан свадебный обряд *Сад*: “Невеста сидит, ждет жениха. В это время сад украшают конфетами, сладостями и поют: Ох ты, сад, ты мой сад, ты зачем рано цветешь, отцветаешься, ты со мной, молодой, распрощаешься. Не ругай, не бранись ты со мною, прощай. Маленькие дети должны воровать конфеты. А родственники невесты бьют их скалками”.

Зеленый, цветущий сад – символ любви в лирической и обрядовой воронежской песне:

Эх, заблудилась красная девчонка
В зеленом саду,
В зеленом саду, ой, саду...
Пусти, пусти меня, маменька,
В зелен сад погулять ...

На горе, в саду зелененьком,
Ой, люли, ой, люли,
Зеленешенек, молодёшенек ...

Добрый молодец да Иванушка...
Он взял ее (Марьюшку. – В.Ф.), он увел ее.

Не кукушечка, не рябушечка
В зеленом саду скуковалася,
А я, молодёшенька,
По своему дружку сгоревалася.

Та или иная смысловая составляющая понятия *цветы/травы* может быть ограничена рамками определенного жанра. Так, мотив выбора второй половины пары, эмблемой которой является цветок, представлен в воронежской традиции в игре “Садовник”, записанной в различных вариантах.

“В детстве мы играли в садовника. Все... именованы цветами. И был один садовник. Он говорит: Все цветы спят, а одна роза не спит. Она говорит: Ой! – Садовник: Что с тобой? – Она: Влюблена. Он говорит: В кого? А она должна назвать цветок. Кто не успевает сказать, тогда у него берут фантик. Когда их набирают много, тогда вожатый вытаскивает фантик и говорит тому цветку, чей был фантик, сплясать или спеть” (с. Большая Грибановка, Грибановский район).

А.Н. Веселовский, показывая развитие психологического параллелизма, приводит игру в “fiore”, описанную итальянским поэтом

XVII–XVIII вв. Никколо Фортегуерри, сходную с русским “Садовником” (Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 160–161), что говорит о диалоге культур, их перекличке.

Параллель *цветок/трава* – человек встречается в народной воронежской традиции в духовных стихах, исполняемых во время поминовения усопших:

Наша жизнь, словно тень,
На земле нам дана.
А как солнце взойдет,
Так исчезнет она.
Как цветок полевой
Попутру расцветал,
А уж к вечеру зной –
Пожетел и завял.

(с. Петровское, Борисоглебский район)

Разбрасывание цветов по дороге к кладбищу во время погребального обряда может обозначать дорогу на “тот свет”: “На каждом перекрестке цветы по дороге разбрасывали” (с. Большие Алабухи, Грибановский район). А также дорогу, по которой душа умершего возвращается в дом: “Девочка цветы бросает. Будет ходить, придет по этим цветочкам душа домой. Душа летает до сорока дней, а тогда куда Господь вселит” (с. Русаново, Новохоперский р-н).

Душистыми травами устилают пол на Троицу: “На Троицын день рвали душистые травы и красивый чебрец. Троицыной травой устилали пол, чтобы был богатый урожай сена” (с. Казанка, Таловский район).

Эта традиция велась издавна: “В старые годы, около Воронежа, строили на Троицу посередине дубовой рощи небольшой шалаш, убирали его венками, цветами и душистыми травами” (Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1994. Т. III. С. 706). Запах трав, вероятно, ассоциируется с Божьим духом в троицкие дни: этот обычай устилания пола травой упоминается еще в сказках Корольковой.

В народной песне у цветов, трав два основных эпитета – *зеленый* и *лазоревый*. Слово *зеленый* употреблено в сборнике воронежских песен 60 раз. “Зеленые” луг, трава, мурава, сосна и др. Народная песня – это гимн зелени, отождествляемой с весной, ростом, молодостью.

Алый цвет встречается в сборнике песен всего два раза. На вопрос: “Ну что растет без алого цвета?” – песня отвечает: “Цветет сосна без алого цвета”. Вместо цветов на сосне – шишки, в которых и содержится семена. Не потому ли в воронежском крае эмблема свадьбы выплекается в виде шишки? Эти шишки жених и невеста вручают гостям, приглашая на свадьбу.

Алые цветы в воронежской песне олицетворяют горе:

Не родись, мое горе,
Ни рожью, ни пшеницей,
А родись, мое горе,
Алыми цветами.

Алый цвет – цвет крови, смерти. Сосна потому цветет без алого цвета, что она вечнозеленая, не “умирает” и зимой.

Лазоревые цветы упоминаются в песнях четыре раза:

Что во поле, во поляне,
Вот и люли – люли,
На высоком, на кургане
Растет трава шелковая,
Цвели цветы лазоревы ...

Рябина, рябина,
Рябина кудрявая, еще кучерявая.
На этой рябине четыре цветка, четыре лазоревые...

При рощице зеленой
При ракитовом кусту
При лазоревом цвету.

Лазорь в Словаре В.И. Даля толкуется как “густой и яркий небесный цвет”. Но какие цветы в Воронежском крае именуются лазоревыми? В с. Троицкое Новохопёрского района лазоревым цветком называют мальву, цветы которой бывают белыми, желтыми, красными, розовыми. В с. Рудня Воробьевского района лазоревым цветком называют степной пион.

В песне лазоревые цветы – на рябине, а она, как известно, цветет белыми цветами.

Еще А.А. Потебня указывал на синонимичность красного, белого и желтого цветов в народной песне, наши наблюдения на примере эпитета *лазоревый* подтверждают это. *Лазоревый* становится синонимом признака *красивый, яркий*.

Цветы/травы оказались настолько завораживающей человеческое сознание реалией, что народ создал несколько образов фантастических цветов.

В духовных стихах “О голубиной книге” упомянуто растение, называемое *плакун-травой*:

Плакун-трава всем травам отец,
Когда Христос на распятии был,
Когда дева, мать пречистая,
Она плакала, сильно рыдала,
На сыру землю слёзы роняла,
От той слезы, от слезы пречистой
Вырастала-то Плакун-травы,
Оттого Плакун-травы всем травам отец.

В Словаре В.И. Даля *плакун* – “травя, от коей плачут бесы и ведьмы; корень ее собирают в иванову-ночь, и он хранит от соблазна”. В разных местах России этой травой считают то кипрей, то зверобой, то дикие васильки и т.п. По данным Словаря русских народных говоров, под словом “плакун” может подразумеваться около 12 реальных растений.

Словарь Д.Н. Ушакова определяет *плакун* и *плакун-траву*, объединяя два названия в одно, как 1. *обл.* Растение, употребляемое в народной медицине; народное название кипрея, подбережника и других трав или полукустарников. 2. В заговорах и сказках – растение с магическими свойствами (*народно-поэт.*).

К волшебным, магическим травам относится и папоротник. В Воронежской области до настоящего времени сохраняются былички об обряде добывания папоротника. Обряд называется *Высиживать цветок* и исполняется в ночь под Ивана Купалу. Приведем наиболее любопытные из этих быличек.

“Была у нас такая бабка, что ходила под праздник Ивана Купала. Ходила в лес в двенадцать часов ночи. Ну она ж пошла пораньше, штоб к двенадцати туда прийти, а причем если идти за папоротником, надо идти, чтоб не поворачиваться. Будет все сзади: и гудеть будет, и кричать по-всякому, что попало будет делаться – цэ нечиста сила будет. Только не оборачиваться назад – если ты обернешься, все, уже папоротника не возьмешь, уже не побачишь. Ну, она ж видно така была боева бабка, видно, дошла туда, не боялася. Прийшла да горит огонек. В лесу цветет папоротник. А як его-то надо сорвать тоже – ведь нечистый не допускает его сорвать. Ну, она сумела сорвать, сорвала его и в руке крепко держала, и тоже назад шла, тоже не оборачивалась. Они делали так страшно, что невозможно идти, чтоб в хату войти, чтоб же их не впустить нечисту силу и цветок чтоб удержать, а то могут выхватить. И она сумела: сделала так, что быстро открыла двери, не глянула даже, прямо ей аж по спине как ударил кто. Она сразу двери захлопнула и все. Папоротник у ей оказался целый. Ну и потом она не то леву, не то праву руку, наверно, леву разрезала ладоню и положила тот цветок туда, и вон оно зажилó. Она обвязала его. Оно туда все заросло там. И начала всё знать, ну, отвороживала, скотине помогала, так же лечила ж всё и людям, ну всё она знала” (с. Марки, Каменский район).

“В двенадцать ночи расцвета папоротник. Надо идти до него самому в лес, держать якусь святу книжку, пид ним чтоб цветы падали на книжку. Потом идти до дому, но нельзя оглядаться – черти заберут. Страшно на дороге робытс: кричат, свистят, всё горит кругом. Як не оглянешься, так всё будешь знать, будешь обладать якоись великой силой” (с. Бычок, Петропавловский район).

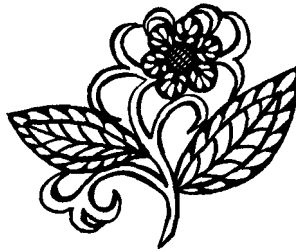
Словарь В.И. Даля так определяет роль этого таинственного папоротникова цвета: “небывалый, сказочный, срываемый в ночь Ивана-Купалы, для выемки кладов”.

Былички о папоротнике редко передают конкретные детали его добывания. Местом совершения обряда может быть лес, перекресток, даже церковь: “Настоящий колдун высиживал в церкви иль в лесу иль на перекрестке цветок какой-то и тогда давая обет. Ну тогда он настоящий колдун” (с. Краснополье, Воробьевский район).

В сущности, цветок папоротника представляет собой славянское языческое древо (цветок) познания. Человек стремился прикоснуться к этому огненному цветку, овладеть им, чтобы получить способность понимать тайны природы.

*Воронежская обл.,
Борисоглебск*

Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Грант № 02-04-00327а-Ц.





**Загадка в поэме В. Хлебникова
“Сельская очарованность”**

Л. В. ЕВДОКИМОВА,
кандидат филологических наук

Поэма В. Хлебникова “Сельская очарованность” посвящена сентиментальной истории любви “звездочета” и “белой незнакомки”: он занят своей наукой, она живет в органическом слиянии с природным миром...

Фольклорно-мифологическая основа поэмы, как и других произведений В. Хлебникова, в которых действуют мифологические персонажи из природного мира (русалка, вила, леший), представляет собой прежде всего синтез загадки и былички. Возможность взаимодействия этих фольклорных жанров обусловлена “загадочной” ситуацией былички. Рассказчик никогда не называет встретившихся ему демонических существ из-за табу на имя нечистого. Но так как слушатели знают о свойствах водяного, лешего, русалки, то без труда понимают, о ком идет речь.

Строение загадки предусматривает отгадку загаданного по его характерным свойствам: признакам, функциям и др. В поэме автор не дает прямого определения, кем является главная героиня, однако ее описание убеждает в том, что это русалка: “кожи снег”, “блещет белое плечо”, “блещет жилка”, “белая незнакомка”, “к земле струился волос”, “русый затылок” (Хлебников В. Собр. соч.: В 6 т. М., 2002. Т. 3). Обычно русалок изображают юными красавицами в белых рубашках или с белыми, как снег, нагими телами, прозрачными и блестящими, с распущенными до земли волосами. В фольклористике считается, что слово *русалка* происходит от *русый, русявый* – названий

цвета их волос (Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки. М., 1995. С. 142, 176–179).

Хлебниковская героиня, как и фольклорная русалка, боится холода и приходит в ови́нник погреться. “Панна” (так иногда называют русалку в украинской традиции) шьет синюю рубашку, что также вызывает ассоциации с русалкой. Красный же цвет служит оберегом от враждебных человеку сил: поэтому старушка, надевшая красный, как мак, платок, видит в овине только “звездочета”.

Согласно этнографическим источникам XIX – начала XX вв., русалки проявляют интерес к пряже и полотняной одежде: так, в украинских и белорусских русальных песнях они просят для себя рубашек и полотна. На Русальной неделе и в ночь под Ивана Купалу крестьяне для безопасности в угоду русалкам развешивали в лесах и на заборах холсты (Зеленин Д.К. Указ. соч. С. 185–187).

Поэма “Сельская очарованность” создавалась в 1911–1912 гг., когда в творчестве поэта увеличивалась роль сложных для понимания “загадочных” текстов.

Антагонизм “звездочета” и “панны”, как существ разных планов бытия, в сущности, восходит к загадке, соотношению вопроса и ответа в которой представляет собой игровое общение и взаимопроникновение “логического”, “научного” и “интуитивного”, “метафизического” начал (Топоров В.Н. Из наблюдений над загадкой // Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Загадка как текст. I. М., 1994. С. 47–49). Эта особенность загадки выражается в хлебниковском стиле сближения “научных и научно-фантастических идей с поэтическими прозрениями” (Григорьев В.П. Грамматика идиостилия. В. Хлебников // Григорьев В.П. Будетлянин. М., 2000. С. 141).

“Звездочет” и “панна” ведут любовный диалог. “Звездочет” стремится стать посредником между хтоническим русалочьим миром и божественным миром чисел. Он утверждает, что само появление русалки – результат его вычислений: “О, я пишу. Тебя здесь вывел”. Объяснить глагол *вывел* помогает обращение к поэме Хлебникова “Ладомир”, где герой извлекает корень из минус единицы, “чтоб увидеть в стране ума русалку у кокорин” (Хлебников В. Творения. М. 1986. С. 252). Как показывает Б. Леннkvист, в данном случае «соответствие между русалкой и числом устанавливается при помощи омонима “корень”», обозначающего одновременно и дерево и математический радикал (Леннkvист Б.С. Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова. СПб., 1999. С. 21).

Добавим, что в народной мифологии *кокора* (корень дерева, подводная коряга) обозначает место обитания душ умерших, это отражается и в народной фразеологии: “уйти в кокорье” – значит “умереть” (Виноградова Л.Н. Мифологический аспект полесской “русальной”

традиции // Славянский и балканский фольклор: духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986. С. 12). Таким образом, хлебниковское выражение “русалка у кокорин” подчеркивает ее причастность к потустороннему миру. Экспериментаторство поэта с внутренними ресурсами языка приводит к обращению к “филологическим” приемам загадки: к игре омонимами, паронимами, прямыми и переносными значениями слова; используются анаграммы, окказионализмы, звукопись и др.

Так, начало “Сельской очарованности” (“Напялив длинные очки, С собою дулась в дурачки, Была нецелою колода, Но любит шалости природа”) представляет собой повествовательную реализацию фразеологизма: “гуляли по зеленому лугу” – т.е., согласно Словарю Даля, “играли в карты”. Прямое значение выражения “гуляли по зеленому лугу” далее восстанавливается: “Прогулки помнишь ты вдвоем?” – спрашивает “панна”. – “Поля от зноя освежались...”

Речь “панны” выделяется своей загадочностью. Печалась о том, что ее отношения со звездочетом не находят развития, русалка видит окончательное примирение лишь в мире “ином”: “И череп все облагородит. Все, все минует и проходит. Не стану я, умрешь и ты”. Однако “череп” здесь не только аллегория человеческой смерти, но и важный атрибут южнорусского обряда проводов-похорон русалки: В. Даль в своем Словаре ссылается на сведения о праздновании в городе Черном Яре Астраханской губернии проводов русалки с участием в этом обряде лошадиного черепа на палке. Предполагаемая смерть “звездочета” мотивируется жанровым контекстом: в быличках привязанность человека к русалке, как правило, заканчивается трагически. Конец “панны” совпадает с обрядом проводов русалки, приуроченным к Ивану Купале.

На вопрос: “Ты знаешь, кто я?” – “звездочет” получает ответ-загадку «Я – “не тронь меня”». “Не тронь меня” – это и название растения. В Словаре Даля к нему приводится примечание: “Не от этой ли травы, известной народу более по наслышке, взялась сказка о разрыв-траве, которая замки рвет, запоры ломит?”. Между тем, известно, что разрыв-травы подобно папоротнику является главным героем растительного мира в Иванов день. По поверью, кто отыщет расцветший папоротник и сумеет овладеть им, приобретает власть над нечистыми духами, например, может безопасно наблюдать пляску русалок (Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. Т. III. С. 148).

Интересен и многозначительный каламбур “панны”, где используются омоформы “соловей” как существительное, означающее птицу, и “соловей” как повелительное наклонение от глагола “соловеть”, т.е. *становиться сонным*: “Спи, голубчик, соловей, Если звонок соловей”. Согласно народным приметам, соловьи поют со дня святых Бо-

риса и Глеба (15 мая) по Петров день (12 июля). Появление русалок обязательно попадает в эти временные рамки. Известно, что они появлялись на Троицу или в Семик, а исчезали или ритуально изгонялись в последний день Русальной (первой после Троицы) недели или в первый понедельник Петрова поста, или – последний срок – накануне Ивана Купалы. Пение соловья, таким образом, означает в “Сельской очарованности” взаимопроникновение миров жизни и смерти, характерное для Русальной недели.

Обращение к этимологии слова “щекотать” (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1999. Т. II. С. 431) обнаруживает, что одно и то же слово обозначает и пение соловья (*щекот*) и прикосновения русалок, *щекотка* которых вызывает необычный хохот (Афанасьев А.Н. Указ. соч. Т. II. С. 339). Кроме того, известна сближенность понятий “сон – смерть” в народных верованиях, отразившихся в языке: например, “усопший” образуется от глагола “спать”. Таким образом, в поэме пение соловья соотносится с губительными действиями русалки, способной защекотать человека до смерти.

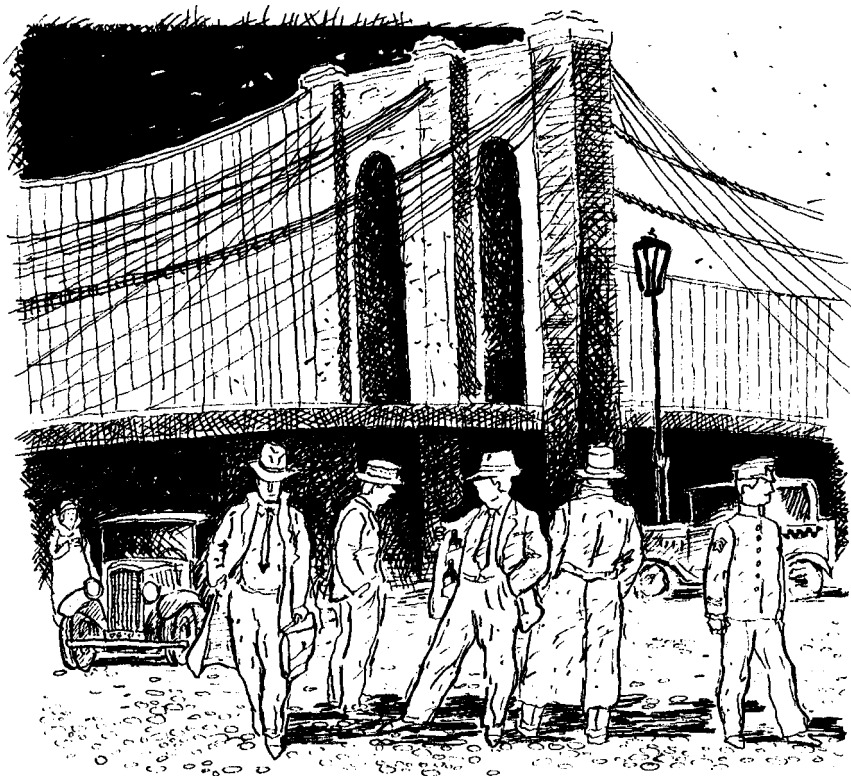
Устремленность “звездочета” к потустороннему миру выражается не только в особенностях обитания героя: он живет в овине – опасном для человека пространстве (былички содержат информацию об овиннике как о злом, враждебном человеку духе).

Раскрытию глубинного смысла образа способствуют и народные приметы. Например: “Вблизи столь многое иное, О чем певец в созвучьях спорит, О чем полкан, печально ноя, Ему у будки в полночь вторит”. Направленность творчества “певца-звездочета” на познание “иного” мира, где обитают души умерших, объясняется обращением к примете: согласно Далю, “ночной собачий вой – к покойнику”

Изображение любовных переживаний героев “Сельской очарованности” сосуществует с мифологическим подтекстом взаимоотношений “звездочета” и русалки. Игра буквального и переносного значений пословицы и поговорки (“Седина в бороду, а бес в ребро”, “мелким бесом рассыпаться”) создает атмосферу неопределенности, характерную для былички, где граница между реальным и сверхъестественным легко проницаема: “В ресницах Бог, А в ребрах бес”; “Ты бесом малым с ней юлил, Ей угодить все норовил”.

Таким образом, загадка присутствует в поэме В. Хлебникова “Сельская очарованность” на всех уровнях поэтики, акцентируя русалочью природу главной героини и таинственность потустороннего мира, к которому она принадлежит.

Астрахань



СУХОЙ ЗАКОН

А. В. ЗЕЛЕНИН,
кандидат филологических наук

Конечно, вам знакомо выражение *сухой закон*, которое значит “запрет на торговлю и употребление спиртных напитков” (Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998). Оно широко используется в русском языке в разных стилях и жанрах: в публицистике, научно-популярных статьях и книгах, разговорном языке. А вот как и когда появилось это выражение в русском языке? Оказывается, не так уж и давно: только в 20-е годы XX века. История его возникновения довольно необычна.

Одно из первых употреблений находим у В. Маяковского: «Пьем, плюя на ваш прогибишен, ежедневную “Белую лошадь”» (Вызов. 1925); «Типичным бизнесом и типичным ханжеством назовем и аме-

риканскую трезвость, сухой закон "прогибишен": в обществе, где продается все... Сейчас уже нельзя отменить закон, запрещающий винную продажу, т.к. это невыгодно, прежде всего, торговцам вином. А таких купцов и посредников – армия» (Собр. соч. М., 1951. Т. 6). Использование варваризма *прогибишен* и "русского словосочетания" *сухой закон* у Маяковского было навеяно Америкой, где он находился с июля по конец октября 1925 года. Стихотворение "Вызов" было написано им еще в Америке. Таким образом, Маяковский живо откликнулся на американскую действительность. Да и нельзя было не откликнуться, когда во время пребывания поэта в Соединенных Штатах "сухой закон" был в самом разгаре (он действовал с 28 октября 1919 г. по 5 декабря 1933 г.); эта тема живо и горячо обсуждалась в конгрессе, в газетах и журналах, просто на улицах городов.

Варваризм *прогибишен* у Маяковского – это графическая транслитерация английского (американского) *prohibition* "запрет, запрещение". Терминологизация слова в американском английском произошла в середине XIX века, когда в некоторых штатах США были запрещены производство и продажа крепких алкогольных напитков. В 1919 году вступил в действие принятый конгрессом так называемый закон Вольстеда (*Volstead Act*), согласно которому во всех штатах США запрещалась продажа спиртных напитков и вводился "сухой закон". Так у слова *prohibition* появилось специальное значение и употребление, связанное с алкогольной сферой. Начиная со второй половины XIX века термин *prohibition* в языковом отношении был чрезвычайно активным, возникли новые словообразовательные производные и синтаксические сочетания: *the National Prohibition Party* "национальная партия, выступающая за запрет алкогольных напитков", *prohibition states* "штаты, где был введен такой запрет", *prohibition law* "закон, запрещающий производство и продажу алкогольных напитков", *prohibition agent* "государственный чиновник (обычно офицер), контролирующий соблюдение такого запрета", *prohibition candidate* "кандидат на выборах, поддерживаемый такой партией", *prohibitionist* "сторонник введения такого закона", *anti-prohibitionist* "противник введения такого закона", *prohibitionism* "такая политика или принципы введения такого закона", *prohibitory law*, *prohibitory liquor law*, *prohibitory party*. Использование Маяковским варваризма *прогибишен* явно отсылает к американской реальности, для русского языка это был экзотизм.

В публицистической статье Маяковский уже не был волен беспрепятственно употребить варваризм, еще абсолютно неосвоенный в русском языке, ему требовалось пояснить значение и употребление термина. Вот почему Маяковский снабжает иноязычное понятие словосочетанием *сухой закон*, очевидно, калькируя англоязычную фразу на русский язык. В американском английском слово *dry* "сухой" также

с середины XIX века стало употребляться в жаргонной и даже просторечной среде в новом, смещенном значении “выступающий за запрет алкоголя (о человеке или целом штате)”; это значение сформировалось в смысловой оппозиции фразе *alcoholic liquors, alhocolic drinks* “крепкие спиртные напитки”. Итак, в одном словосочетании *сухой закон* “прогибишен” у Маяковского сошлось два семантических явления: семантическая калька (из разговорных сфер американского английского *dry law*) и варваризм (официальное название такой антиалкогольной политики *prohibition*).

Варваризм *прогибишен* очень быстро исчез из русского языка, не оставив никаких следов, но термин *сухой закон* остался, так что оказался зафиксированным (а значит, принятым русским языком к тому времени) в Словаре Д.Н. Ушакова, однако все-таки пока только как американская реалья: “существовавший в США закон о запрете торговли спиртными напитками” (Толковый словарь русского языка, Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1934–1941. Т. 4).

Вплоть до времени проникновения словосочетания *сухой закон* в русский язык и его закрепления в нем в 20–30-е годы XX века у нас обычно использовали слово *трезвость*, иногда придавая ему терминологичность. Так, 27 сентября 1914 года по инициативе крестьянских депутатов (И. Евсеева и П. Макагона) в Государственной Думе рассматривалось законоположение “Об утверждении на вечные времена в России трезвости”. В этом документе были такие слова: “Да будет стыдно всем тем, которые говорили, что трезвость в народе немислима, что она достигается запрещением. Не полумеры нужны для этого, а одна решительная бесповоротная мера изъять алкоголь из свободного обращения в человеческом обществе и перенести его в аптеки и специальные склады как лекарственное средство и продукт, пригодный для хозяйственных и технических нужд”; в том же году этот закон в России был принят и одобрен Николаем II.

Ключевыми словами в тексте депутатов, как и в самом законе являются слова *трезвость, запрещение, алкоголь, лекарственное средство*. Очевидно, именно в наборе этих обозначений в то время русские и видели содержание понятия “запрет алкоголя”, например, в 1916 году появилась книга с красноречивым названием “Жизнь деревни в дни трезвости” (Воронов Д.Н. СПб., 1916). Смысловые параллели с английским понятием прослеживаются совершенно отчетливые, разница только в степени аналитичности: в русском языке понятие “сухой закон” выражалось описательно, пространно, с использованием высоких (*трезвость, лекарственное средство, запрещение*) или специальных слов (*алкоголь*); в американском английском либо при помощи терминологизированного и официального слова *prohibition*, либо разговорно-просторечного (жаргонного) выражения *dry law* “сухой закон”.

В 20–30-е годы XX века началась конкуренция (прежде всего в публицистике) между калькой *сухой закон* и тем набором русских смысловых эквивалентов, которые соответствовали этому иноязычному (по своему происхождению) выражению. Победа оказалась на стороне иноязычной кальки по нескольким причинам: 1. Компактность и четкость англоамериканского словосочетания; 2. Отсутствие смысловой “шероховатости” в русском языке; 3. Нейтральная стилистика входящих в нее лексем. И хотя смысловая оппозиция *dry* “сухой” – *alcoholic* “алкогольный” была несвойственна русской семантической системе, тем не менее русский язык легко принял словосочетание, так как в семантике русского прилагательного *сухой* уже содержится идея “безводный, лишенный жидкости”. Наложение на собственную семантику прилагательного *сухой* иноязычного (калькированного) значения “безалкогольный” совершилось в русском языке (без видимого “усилия и насилия”: произошло практически неуловимое, оставшееся незаметным и не замеченным для носителей языка семантическое калькирование иноязычного смысла.

Европейские языки отреагировали на американизм двумя способами: они или заимствовали варваризм (нем. *Prohibition*, исп. *prohibicionismo*, итал. *prohibizionismo*, польск. *prohibicija*, чеш. *prohibice*) – в этом случае у слова остается мощная “американская коннотация”, либо семантически калькировали понятие (нем. *Antialkoholgesetz* “антиалкогольный закон” или *Alkoholverbot* “запрещение алкоголя”, дат. *alcoholverbot* “запрет алкоголя”, фин. *kieltolaki* букв.: “запрещающий закон”, франц. *prohibition d'alcool*, в польском языке распространено аналитическое толкование понятия: *zakaz produkcji i sprzedaży alkoholu* “запрет производства и продажи алкоголя”) – в случае семантического калькирования у термина уже нет явной коннотации “американский”, что обеспечивает ему большую степень свободы в номинативной системе языка.

Любопытно, что ни один европейский язык не знает выражения *сухой закон*. В этом отношении русский язык составляет исключение на европейском фоне. Причину такого различия следует искать в источнике заимствования: многие языки переняли официальное название такой американской политики запрещения и потребления алкоголя, русский же язык калькировал американское просторечное (жаргонное) обозначение этого понятия. Вот почему иностранцам (особенно европейцам) “русское выражение” *сухой закон* чаще всего совершенно непонятно и вызывает недоуменные вопросы: что это значит? и почему закон *сухой*? где языковая логика? А все дело в разных номинативных формах воплощения понятия в англо-американском языке (*prohibition, dry law*) и проникновения его в другие языки. Предсказать заранее способы, технологию проникновения какого-либо понятия из языка-“донора” в другие языки просто невозможно. Какие способы

заимствования закрепятся, останутся в принимающем языке? Почему язык “выбрал”, “предпочел” именно такой вариант освоения и сохранения иноязычного понятия? Произойдет ли замещение исконного понятия иностранным обозначением? Каковы мотивы и причины такого замещения? На все эти и другие вопросы в каждом конкретном случае требуется отвечать индивидуально, вникая в судьбу и историю понятия как в языке-источнике, так и в языке-реципиенте (принимающем языке).

В советское время термин *сухой закон* даже еще в конце 70-х годов XX века понимался как иноязычная реалья; так, на страницах Большой Советской Энциклопедии (3 изд., 1970–1978 гг.) он приводится в кавычках (что показывает нестрогий в терминологическом отношении смысл понятия) и интерпретируется так: «“Сухой закон”, закон о запрещении производства и продажи спиртных напитков. Действовал в США (1920–33) и некоторых других государствах» (Т. 25). Вплоть до 1985 года понятие было прочно ассоциировано с Америкой. Однако с началом перестройки этот термин приобрел актуальность и для российского (бывшего советского) общества в связи с начавшейся антиалкогольной кампанией; постановление ЦК КПСС именовалось “О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма” (7 мая 1985 г.). И хотя в этом документе не встречался термин *сухой закон*, а понятие выражалось описательно “меры по устранению пьянства и алкоголизма”, “вред употребления спиртных напитков”, тем не менее язык отреагировал на это постановление именно как на введение сухого закона (в обиходе – *сухой закон Горбачева*, *сухой закон Горбачева-Лигачева*).

Конечно, всплыли и старые фоновые знания о *сухом законе*: предводитель американской мафии в то время Аль Капоне; Чикаго (как ее центр); понятие “Великая депрессия” (годы экономического застоя в США: 1929–1933 гг.); конституция США (так называемая 18 поправка к конституции, вступившая в силу 16 января 1920 г. и, по сути, означавшая начало “сухого закона”); появление гангстеров и американской мафии как организованной преступной группировки (результат действия этого закона). Разумеется, их актуализация была неслучайна, а в своеобразном отраженном свете помогала сопоставить постсоветскую действительность с уже известным историческим опытом США. Так бывшая американская реалья спустя несколько десятилетий оказалась переориентированной применительно к нашей действительности.

Интересно, что вместе с активизацией и актуализацией термина *сухой закон* в русском языке происходит процесс, уже опробованный когда-то Маяковским, – использование варваризма *прогибишн*: «В Штатах “прогибишн”... совпал с Великой депрессией и гигантским кризисом» (Слово нефтяника. Ноябрьск. 2001. 16 февр.); “По-английски сухой закон – прогибишн. Вот он и прогибается уже по-русски под тяжестью

алчущих познать истину, которая, как назло, в вине” (Моск. комс. 2002. 19 февр.).

Языковые условия “реставрации” этого варваризма в русском языке уже иные, чем во времена Маяковского: тогда этот варваризм осмыслился как неадаптированный термин, сейчас – как сознательный языковой прием журналиста, желающего “блеснуть” знанием американского английского языка и рассчитывающего на поддержку этого со стороны читателя (ведь многие владеют английским). Кстати, именно на этой интеллектуальной базе и основан момент языковой игры в приведенной нами цитате: русские уже привыкли к термину *сухой закон*, освоили его, варваризм же *прогибишн* лишь создает дополнительный игровой эффект (*прогибишн* – *прогибаться*). Итак, за одной и той же формой варваризма в разные этапы русского языка (в 20-е годы XX и в конце XX – начале XXI века) скрываются несхожие причины и цели: в русском языке термин *сухой закон* уже (почти) оторвался от своей языковой американской “пуповины”, варваризм *прогибишн* призван “вернуть” это понятие на американскую языковую почву.

В современном русском языке словосочетание *сухой закон* широко используется в публицистике, разговорных сферах, порой даже в официальных документах. Это значит, что термин находится на пути к межстилевой лексике, у него уже нет яркой стилистической окраски и маркировки, хотя слегка еще и проступает разговорность.

Санкт-Петербург





Как из земляных яблок выросла картошка

Л. А. БАРАНОВА,
кандидат филологических наук

*Знатные гости садились ужинать кровавыми
колбасами, свиными головами с фаршем,
удивительными земляными яблоками чудной
сладоcти и сытости.*

А.Н. Толстой. Петр Первый.

Земляными яблоками называли в старину картошку. Интересна и сложна история этой овощной культуры, самой популярной ныне не только в России, но и во многих других странах, не менее интересна и история ее наименования. “Родина его [картофеля] – Чили и прилегающие острова (...) Введение картофеля в культуру началось примерно четырнадцать тысяч лет назад индейцами Южной Америки. В Европу (Испания) картофель был впервые ввезен около 1565 года, откуда распространился по другим странам. В Россию картофель впервые попал в XVII веке, но начало широкой культуре картофеля положил указ Сената в 1765 г. и завоз из-за границы партии семенного картофеля, разосланного по стране” (Жизнь растений. Т. V. Ч. 2). Упоминание о нем можно найти уже в литературе XIX века: “У порядочных помещиков и во многих казенных деревнях “земляные яблоки” саживались гораздо прежде картофельного террора” (Герцен. Былое и думы).

Появившись в России в XVII веке, картофель не сразу обрел свое современное наименование, которое, как отмечается в “Кратком этимологическом словаре русского языка” Н.М. Шанского, В.В. Иванова, Т.В. Шанской, было заимствовано из немецкого языка лишь в XVIII веке.

Более раннее наименование *земляные яблоки* является калькой французского *potmes de terre*. Это словосочетание отмечено и в Словаре В.И. Даля, но в XIX веке оно стало уже лишь одним из диалектных названий картофеля: “*тул., моск. земляное или чертово яблоко, в Сиб. просто яблоко (там других яблок нет)*”.

Путь распространения картофеля в России не был гладким, его сопровождали “картофельный террор” и “картофельные бунты”. Насильственное внедрение вызывало протест, неприятие новой овощной культуры, “нечестивому плоду”, “Богу противному фрукту” приписывали какие-то зловещие качества, что отразилось в его диалектных названиях. Так, у В.И. Даля, помимо уже упомянутого *чертова яблока*, в сборнике “Пословицы и поговорки русского народа” отмечено и староверское, раскольничье: “Мандрагоровы яблоки есть грех”. Картофель здесь сравнивается с мандрагорой – растением, корню которого приписывались магические свойства (подробнее о мандрагоре см.: Туманова О.Т. Растения в текстах Библии // Русская речь. 2001. № 2).

Заметим, что и *земляные*, и *чертовы*, и *мандрагоровы* – все это *яблоки*. Слово *яблоко* с добавленным к нему каким-либо определением встречается в названиях различных овощей и фруктов не только в русском, но и в других языках. Так, слово *апельсин* заимствовано в XVIII веке из голландского языка, в котором оно дословно переводилось как *китайское яблоко*, а еще до появления данного заимствования в XVI–XVII веках эти фрукты в России называли *персидскими* или *турецкими яблоками*; или слово *помидор*, пришедшее из итальянского языка, где его буквальное значение – “золотые яблоки” (более раннее название этих овощей было заимствовано из французского языка, где их название – также ныне устаревшее – *potmes d'amour* переводилось как “яблоки любви”). Таких примеров можно привести множество, так что присутствие слова *яблоко* в диалектных названиях картофеля отнюдь не случайно.

Однако картофель в других языках сравнивают не только с яблоками. Так, китайское его название дословно переводится как “земляные бобы”. В одном из немецких диалектов (земли Северный Рейн-Вестфалия) название картофеля *die Krumbeer*, дословно – “земляные ягоды”. Кстати, именно это немецкое диалектное слово послужило основой заимствованного наименования картофеля в сербохорватском – *крѹмпир*, *крумпир*, словенском – *krompir*, а также диалектных вариантов в болгарском – *компир* и в словацком – *krumpla*, *krumpol*. В русском языке наряду с *земляными яблоками* имеется и другое словосочетание – *земляная груша*, но оно относится уже не к картофелю, а к другому растению с подземными клубнями – топинамбурю.

Основной видовой признак картофеля – “растущий в земле, земляной” – в некоторых славянских языках и диалектах отразился прямо в его

названии: *ziemniak* (-i) – польское, *zemiak* (-y) – словацкое, *zemač* (-y) – западнословацкое диалектное, *дземяк*, *земняк* – западноукраинское диалектное.

Определение *земляной* присутствует и в латинском слове *terrätuber*, к которому в итоге и восходит заимствованное русским языком из немецкого слово *картофель*: “Заимствовано из немецкого языка в XVIII в. Нем. *Kartoffel* – “картофель” представляет собой изменение более старого *Tartuffel*, восходящего через посредство итал. *tartofolo* – “трюфель” к лат. *terrätuber* – букв. “земляная шишка”. Латинское слово образовано путем сложения *terra* – “земля” и *tuber* – “шишка, нарост” (Шанский и др. Краткий этимологический словарь русского языка).

Немецкое слово *Kartoffel* было заимствовано не только русским, но и другими европейскими языками: *kartupeli* – латышское; *cartof* – румынское; *картоф* (-и) – болгарское; *kartofel* (-fle) – польское (наряду с *ziemniak*); *картопля* (и диалектные варианты: *картох*, *картоха*, *картофли*, *картохль*) – украинское; *kartofel* – словацкое диалектное; *картопля*, *картошка*, *картофи* – белорусское диалектное; *kartola* – чешское (вероятно, устаревшее или диалектное; зафиксировано в Словаре А. Преображенского, однако в современных русско-чешских словарях *картофель* переводится лишь как *brambory*); *кртола* – сербохорватское (также, вероятно, устаревшее или диалектное; отмечено в “Этимологическом словаре украинского языка”, однако в современных русско-сербохорватских словарях приведены лишь варианты *кромпир* и *крумпир*, заимствованные, как уже указывалось нами, из немецкого диалекта).

Пожалуй, ни одна овощная культура не может сравниться с картофелем по своей популярности у славянских народов, и, вероятно, в силу этого ни одно название овощных культур не дало такого количества диалектных вариантов в славянских языках, как *картофель*. Так, в русском языке, помимо уже упомянутых *земляных* и прочих *яблок*, словарями В.И. Даля, А. Преображенского, М. Фасмера зафиксированы такие разговорные и диалектные варианты: *картошка*, *картоха*, *к(г)артохля*, *к(г)артопля*, *картофля*, *картоф*, *картофка*, *картовка*, *картосы*, *картышии*, *корфеты*, то есть в русском языке это, главным образом, разнообразные фонетические варианты основного заимствованного наименования.

Значительно большую по объему и чрезвычайно разноплановую по составу группу представляют собой диалектные названия картофеля в украинском языке: *бараболя*, *барабой*, *барабоня*, *барабуля*, *балабурка*, *барболя*, *боля*, *барабиль*, *барабій*, *барабін*, *барабон*, *балабон*, *гараболя*, *гараголя*, *гордзоля*, *гурдзоля*, *гондзоля*, *бандура*, *бандурка*, *бандурята*; *бульба*, *бульбан*, *бульбега*, *бульбиця*, *буля*, *гайда*, *гайдабурка*, *гандабурка*, *гардибурка*, *мандобурка*, *мандибуренка*, *дземяк*, *земняк*, *кантопля*, *кантоха*, *картопа*, *картофля*, *картофій*, *картох*,

картоха, картохель, картохля, картошка. Большие группы таких вариантов представлены также в словацком, болгарском, польском и других славянских языках.

Заслуживает интереса ряд диалектных наименований картофеля или определенных его сортов, образованных от названий городов Германии, откуда, как предполагается, и началось распространение данных сортов или картофеля вообще. Так, в украинских диалектах существуют такие названия картофеля или отдельных его сортов, как *мандебурка* и ряд его фонетических вариантов (заимствованные из польского языка, где *tandyburka* – название определенного сорта картофеля), *гандабурка, гардибурка, балабурка, бандурка* и *бандура* (см. “Етимологічний словник української мови”. Київ, 1985. Т. 1, 3). Авторы-составители данного словаря считают, что все эти слова происходят от названий немецких городов *Магдебург* и *Бранденбург*. Восходящими к немецкому топониму *Бранденбург* авторы указанного словаря считают также не только название картофеля в современном чешском языке *brambor* (-у) и его диалектные варианты *bandor, bandur*, но и значительно менее сходное по звучанию украинское диалектное название *бараболя* (а также более десятка производных от него фонетических вариантов), которое, по мнению авторов, было заимствовано затем румынскими диалектами с тем же значением (*barabula, baraboi*), а уже из румынского появился один из болгарских диалектных вариантов *барабой*.

Следует заметить, что в русском языке также существуют диалектные названия овощей, указывающие на немецкое или иное чужеземное их происхождение (слова *немка, голанка, шведка* отмечены в Словаре Даля), но эти названия не картофеля, а брюквы.

К иному, более древнему источнику восходит еще одна группа наименований картофеля: *bulves* – литовское, *бульба* – белорусское, *bulba* – польское диалектное, *бульба* и производные *буля, бульон* – украинское диалектное, *гульба, гулена* – русское диалектное (отмечены в Словаре Даля). При этом заимствованный из польского украинский диалектный вариант приобрел два более специфических значения: 1) в отличие от польского прототипа украинская *бульба* обозначает не картофель вообще, а лишь мелкие его клубни; 2) в другом своем значении *бульба* является названием не картофеля, а топинамбура, в русском языке имеющем также название *земляная груша*. Авторы “Етимологічного словника української мови” (Т. 1) утверждают, что *бульба*, как и иные слова данной группы, прямо или косвенно происходит от латинского *bulbus* – “луковица, клубень”, которое в свою очередь через древнегреческий восходит к индоевропейскому пракорню **bol-/bul-* “кучка, клубень, шишка, желвак, опухоль, нарост”.

Мы уже говорили о том, что заимствованное русским языком немецкое слово *Kartoffel* возникло из итальянского названия трюфель –

подземных грибов. Однако такой перенос названия с одного растения на другое, основанный на внешнем сходстве их съедобной подземной части, произошёл лишь в заимствовавшем это слово немецком языке. В итальянском же трюфель сохранил свое наименование *tartufo*, зато чужое имя, образованное (с небольшими фонетическими изменениями) от названия другого растения на основе сходства их подземных клубней, получил картофель – *patata*. В итальянском языке есть и слово *batata* – “батат, сладкий картофель” (в данном значении это слово существует также в большинстве европейских и славянских языков, в том числе, в русском – *батат*). Отличие в одну согласную позволило различать в итальянском языке названия этих растений, принадлежащих в ботанической классификации к разным группам (*Solanum tuberosum* – картофель и *Ipomea batatas* – батат).

Подобные названия картофеля (в большинстве случаев заимствованные) существуют и в некоторых других языках и диалектах: *potato* (-es) – английское, *patata* (-s) – испанское, *patates* – турецкое, *batam*, *namam* – болгарское диалектное, *batores* – арабское. Так, например, в английском языке, по данным словаря “Random House Unabridged Dictionary” (Second Edition – New York, 1997) слово *potato* появилось приблизительно в 1545–55 гг., «происходит оно от слова *patata* – “белый картофель”, который является вариантом слова *batata* – “сладкий картофель”, использовавшегося индейцами племени Таино из Вест-Индии» (перевод наш. – Л.Б.).

Таким образом, мы видим, что в русском языке наименование картофеля трансформировалось из кальки *земляные яблоки* в более компактное прямое заимствование *картофель*, то есть перешло из группы описательных составных наименований в группу более четких по значению однословных наименований.

Симферополь,
Украина



Пудель

И. П. СУСЛОВА

Из декоративных собак, пожалуй, наиболее популярны пудели. До заимствования слова *пудель* из немецкого языка их называли за длинную и курчавую шерсть *курчавка*, *кудрявка* (Ефремов Е. Новый полный словарь иностранных слов. Под редакцией И.А. Бодуэна де Куртене, М., 1911; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1880).

В настоящее время пудель стоит в одном ряду с такими породами, как болонка, левретка, пекинес, мопс, пинчер, тойтерьер, шпиц. И мало кто знает, что *пудель* – это “порода собак с длинной шерстью, образующей косицы, или с более короткой и вьющейся, теперь гл. обр. комнатных, а первоначально охотничьих, для охоты на болотную дичь” (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1994). Подтверждение этому можно найти в книге из известной серии “Жизнь животных” А. Брема. Немецкий зоолог ставил эту породу в промежуточное положение между служебными и охотничьими собаками. Они отличаются не только большой преданностью, но и самостоятельностью, что характерно для охотни-

чьих собак. При этом пуделей относят к водным собакам: в их задачу на охоте входило доставать подстреленную дичь из воды.

Слово *пудель* попало в русский язык из немецкого в начале XIX века, а словарями отмечалось с 1847 года (Словарь церковнославянского и русского языка. СПб., 1847). Первоначально эта собака в немецком языке называлась *Pudelhund*, где диалектное слово *pudeln* значит “плескаться в воде”. А Преображенский в своем “Этимологическом словаре русского языка” (М., 1910–1911) называл пуделя *собакой водолазом*. В немецком языке существует сложное слово *pudelnass*, что значит “мокрый как пудель”. На русский язык этот фразеологизм переводится как “промокший до нитки”. В английском языке с таким же корнем существует глагол *puddle* “барахтаться в воде”.

Из немецкого образовалось «швед. *pudel*; англ. *roodle* и др. В романских языках эту породу собак называют иначе. В частности, в Испании, где, как полагают, она была впервые выведена: *perro lulu* [где *perro* – “собака”, а *lulu* – от *lulo* – “валик” (из волос)]. Ср. французские названия пуделя: *barbet, m.* (от *barbe* – “борода”) и *caniche, m.* (от *cané* – “утка») (Черных. Указ соч.).

Постепенно пудель-охотник за его красивую шерсть, сообразительность и преданность превратился в декоративно-комнатную собачку.



О двух орфограммах

В. Г. ЗДАНКЕВИЧ

Безударные гласные *а* и *о* на конце наречий

Наречия, образованные от прилагательных с предлогами *из, до, с*, имеют на конце букву *а*, а с предлогами *в, за, на* – букву *о*.

В написании таких наречий легко избежать ошибок, если приставку наречия обратить в соответствующий предлог и добавить к нему вместо прилагательного существительное *окно*, например:

из окна – значит, следует писать издавна, издалека, изжелта, изредка, а также искоса, исподтишка;

до окна – значит, докрасна, досуха, досыта, дочиста;

с окна – значит, слева, сначала снова, справа, а также сыздавна, сызмала, сызнова.

но: в окно – значит, влево, вправо;

за окно – значит, задолго, заживо, замертво, заново;

на окно – значит, набело, наглухо, накрепко, налево, направо, насухо, начерно, начисто.

Примечание. Этот прием подстановки помогает делать выбор гласной в наречиях, образованных от бесприставочных прилагательных, например: издавна (от давний), докрасна (от красный), влево (от левый). Но в наречиях, образованных от прилагательных с приставками, пишется *о*, например: безудержно (от безудержный), досрочно (от досрочный), изогнуто (от изогнутый), изысканно (от изысканный).

Мягкий знак на конце и в середине числительных

Чтобы не ошибаться в написании мягкого знака для обозначения мягкости согласных в числительных, рекомендуем руководствоваться одним из двух способов (по вашему выбору):

I. Запомнить: 1) в числительных от 5 до 10 и в оканчивающихся на *-дцать* мягкий знак пишется на конце (пять, восемь, десять, восемнадцать, двадцать, тридцать); 2) в числительных, оканчивающихся на *-десят* или *-сот*, мягкий знак пишется в середине, после первого корня (пятьдесят, восемьдесят, пятьсот, восемьсот).

II. Возьмите за ориентир числительное *сорок* и запомните:

1) в числительных меньше 40 мягкий знак пишется на конце (семь, семнадцать, двадцать, тридцать);

2) в числительных больше 40 мягкий знак пишется в середине, после первого корня (семьдесят, семьсот, девятьсот).



А. Г. БАЛАКАЙ. О русском речевом этикете

Широко известно высказывание М.В. Ломоносова, что богатства и сила России Сибирью прирастать будут. Эти слова нашего великого предка невольно приходят на ум, когда знакомишься с работами новокузнецкого ученого А.Г. Балакая, посвященными русскому речевому этикету – монографией и двухтомным словарем “Доброе слово”, словник которого содержит около 6000 слов и выражений. Каждая словарная статья – это буквально энциклопедическое исследование. Например, словарная статья ГОСТЬ. В ней и толкование различных значений слова, и словообразовательный ряд (*гостёк, гостенёк, гостенёчек* и т.д.), и обилие примеров на каждое значение слова и на каждую словообразовательную модель, и комментарий автора к формам и значениям слова, и обилие фразеологизмов-иллюстраций, и стилистические пометы к значениям и формам слова.

Словарь читается с интересом. Материал подобран под определенным уклоном – доброе слово. В русском языке много добрых слов и выражений, ведь доброта – основа русской народной речи.

Определенный интерес представляет приложение к словарю: русские пословицы и поговорки о языке, речи и культуре речевого поведения, система классификации чинов по рангам в России начала XX века, иерархия званий и титулов в Русской православной церкви.

Вышедшая в 2002 году монография А.Г. Балакая “Русский речевой этикет и принципы его лексикографического описания” представляет собой своеобразное осмысление и обобщение работы, проведенной в словаре. В предисловии к своей монографии автор пишет: «Русский речевой этикет и речевая культура в целом сегодня как никогда нуждаются в сохранении, глубоком, всестороннем изучении, посильной и разумной реставрации. Необходимо собрать и сберечь веками накопленные сокровища русской вежливости. Это нужно для того, чтобы... не утратить самое главное “отцово знание” – доброе слово и, в конеч-

ном счете, для того, чтобы в мере разумения воспроизвести это наследие для расширения современного языкового поля благожелательности».

В монографии А.Г. Балакая раскрываются основные понятия русского речевого этикета, дается его лексикографическое описание, предлагаются наблюдения над употреблением знаков русского речевого этикета. В последней части очень ценны образцы лингвистического анализа текстов по материалам произведений А.С. Пушкина и И.С. Тургенева. Здесь А.Г. Балакай продолжает традиции такой работы, заложенные еще в 30-х годах XX века академиком Л.В. Щербой.

Рецензируемые книги – это, несомненно, глубоко научные исследования, но с ярко выраженным публицистическим характером. А.Г. Балакай верит в доброту своего народа, видит отражение ее в языке, бережно собирает и описывает “добрые слова”. Он считает, что, поскольку русская речевая культура переживает сегодня далеко не лучшие времена, очень важно собирание, изучение, описание соответствующего языкового материала, культивирование лучших традиций и форм доброжелательного обхождения в современном обществе.

В предисловии к словарю автор выражает благодарность тем, кто помог ему осуществить издание. И здесь прежде всего А.Г. Балакай называет губернатора Кемеровской области А. Тулеева. Такая поддержка дорогого стоит. Когда государственные деятели проявляют интерес к русскому языку, возникает надежда, что общими усилиями все-таки удастся поднять уровень речевой культуры нашего народа, и доброе слово победит.

**В. Т. Бондаренко,
Л. Н. Санжаров**

Тула

Л. В. ДУЛИЧЕНКО. Словарь обидных слов

В последние годы в лексикографической практике появляется немало оригинальных работ, по-своему интерпретирующих и классифицирующих лексический запас русского языка, его богатейшие традиции как в области создания словарей, так и в отборе необходимых единиц для исследования.

В этой связи представляется интересным опыт анализа лексики с негативным значением – “антрополоксем”, как называет их автор рецензируемого издания, выпущенного Тартуским университетом в 2000 г. Мы сразу же можем сказать, что книга ориентирована не только на лингвистов-словарников, но и на широкий круг читателей, особенно, если принять во внимание нынешнюю лингвистическую ситуацию и роль родной речи за пределами традиционного языкового пространства. Ведь недостаточно только *правильно* говорить на русском языке, необходимо изучать и понимать оттенки значений слов, получивших в современных условиях иную коннотацию. Ее неумелое использование, а нередко искажение значения слова, подмена смыслов и многое другое – вот лишь некоторые “издержки” языковой ситуации в России. По образному выражению В.Г. Костомарова, “вкус эпохи” как-то не хочется называть *языковым*, скорее наоборот – *антиязыковым*. Как ни странно это звучит у нас, в России, все явления в духовной и общественной жизни с приставкой “анти” “рекламируются” лингвистами значительно активнее, чем то, что, казалось бы, должно составлять предмет настоящего интереса ученых-филологов, не занимающихся сиюминутным поиском модных тем и не стоящих в ожидании оценок поверхностной аудитории слушателей.

Эти строки пришли нам на память, когда мы впервые ознакомились с трудом Л.В. Дуличенко, как раз выступающей с иных, “недемократических” позиций в языкознании и не делающей из такой популярной темы очередной рекламы низкого просторечия и бранной лексики. Подход автора нам тоже кажется весьма корректным и к истории русской лексикографии и к методам анализа лексики. Вопреки сложившейся в недавние годы традиции изучать бульварную прессу и преподносить ее “словарики” под грифом учебных пособий для широкого читателя, здесь, напротив, исследуется достоверный материал, вошедший в один из авторитетных источников. Это – “Словарь русского языка” в 4-х томах под редакцией А.П. Евгеньевой (так на-

зываемый Малый академический словарь – МАС). Практика работы с ним так описывается автором в “Предисловии” к своей книге: “Методом сплошной выборки из этого лексикографического издания были выписаны все антрополоксемы, характеризующиеся первичным или же вторичным отрицательным значением. К ним мы добавили несколько десятков слов, отраженных в МАС без интересующего нас значения, хотя речевая практика давно уже приписала таким антрополоксемам вторичную негативную семантику” (С. 8). “Однако, – пишет далее Л.В. Дуличенко, – мы отказались от включения в наш словарь слов, которых не фиксирует МАС, хотя они и являются известными и употребляемыми антрополоксамами с негативным значением, срав., например, *дебил*, *чувак*, *подделочник* и под. Для нас принципиально важным было не выходить за рамки МАС, отражающего широкоупотребительную лексику современного русского языка” (Там же). И это последнее замечание ученого ценно тем, что показывает ту эмоционально-нравственную грань, тот лингвистический срез и языковой потенциал слова, за пределы которых выходить не следует.

В состав обсуждаемого словаря включены и широко известные лексемы, так сказать, обладающие уже вневременным признаком: *авантюрист*, *автомат* (“о человеке, действующем по выработанному шаблону, безучастно и механически совершающем что-л.”), *бродяга*, *брюзга*, *драчун*, *дуб* (“о нечутком, тупом человеке”) и многие другие; некоторые устаревшие “прозвища” вроде *бражник* (“пьяница, гуляка”), *бука* (“о нелюдимом, угрюмом человеке”), *доказник* (“доносчик”), *мздоимец* (“взяточник”) и т.д., а также большой корпус разговорных и просторечных слов, имеющих различную стилистическую окраску. В числе последних есть и лексемы грубого просторечия (*мордоворот*), разговорно-пренебрежительные и бранные слова (*молокосос*, *монстр*, *морда*), слова нейтральной стилистической окраски (*обжора*, *плут*, *повеса*, *подхалим*).

Словарная статья содержит грамматические сведения (окончание в родительном падеже и род), указание на стилистическую принадлежность лексемы с оттенками. Приводимое далее толкование иллюстрируется примерами из классической русской и советской литературы. Если слово имеет прямое номинативное значение, таковое также приводится. В некоторых случаях дается краткая историко-этимологическая справка. Так, при слове *фанатик* указывается, что оно произошло от лат. *fanaticus* – иступленный. Иногда подобные сведения могут носить более развернутый характер. При слове *фарисей* (лицемер, ханжа) сказано: “Представитель общественно-религиозного течения в Иудее во 2 в. до н.э. – 2 в. н.э., отличающийся фанатизмом и лицемерным исполнением правил благочестия; от греч. *pharisaïos*”.

Вот некоторые примеры словарных статей:

Тюлень, -я, м. *Разг.* О неуклюжем, неповоротливом, нерасторопном человеке. «Сказать бы: “О нет, вы гораздо красивее”! Выходит коротко и как-то плоско. (...) Да уж теперь и поздно. Удобная секунда промелькнула и не вернется. Ах, как досадно. Какой я *тюлень*!» (Куприн. Юнкера).

Морское ластоногое млекопитающее.

Тюря, -и, м, и ж. *Прост.* О нерасторопном, вялом человеке, рохле. “Это еще тот тюря: из-под носа у него все тащат – как не видит”. Срав. также *тютя*.

Кушанье из крошенного в воду или квас хлеба с луком.

В некоторых случаях приводимые примеры обидных слов уже успели “обрасти” не одним, а несколькими значениями. Таким образом, можно проследить характер семантической спаянности компонентов антрополексем, ее возможную эволюцию. Такие статьи будут особо интересны читателям. Вот один из подобных примеров:

Хищник, -а, м. 1) Тот, кто наживается, обогащается на разорении, ограблении, эксплуатации кого-л. “Бульба был упрям страшно. Это был один из трех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских *хищников*” (Гоголь. Тарас Бульба). 2) Тот, кто с целью наживы пользуется средствами, ведущими к истощению природных богатств, к истреблению промысловых зверей, рыб и т.п. “[Мне] хотелось познакомиться на месте с знаменитыми *хищниками*, добывавшими золото самым первобытным способом” (Мамин-Сибиряк. В горах). 3) *Устар.* Похититель, вор. “Будочник Иван Федосеев встретил на заборе *хищника*. – Стой, подлец! – энергически произнес будочник, неколеблящейся рукой хватая вора за полу” (Г. Успенский. Сторона наша убогая). См. также *хищница*.

Хищное животное.

Для специалистов будет особо интересна классификация слов “по характеру значений и факту фиксированности их в МАС”, приводимая в заключительной части издания. Здесь Л.В. Дуличенко выделяет три группы:

I – антрополексемы с первичным негативным значением,

II – антрополексемы со вторичным негативным значением,

III – антрополексемы, наделенные негативным значением нами.

К первой группе относится большинство общеизвестных слов, как правило, употреблявшихся в нашем языке исстари: *бражник*, *брехун*, *бродяга*... Ко второй, по-видимому, слова из более современного и часто книжного лексикона вроде *агнец*, *азиат*, *альфонс*, *антик*, *бирюк*,

блаженный, но не только, например: *баран, балда, ведьма* и т.п. Наконец, в третью группу включены такие слова: *абориген, авторитет, акула, амеба, анархист, анафема, артист, атаман, бык, верблюд* и подобные. Их число, по мнению автора словаря, очень незначительно. Это приложение, на наш взгляд, выглядело бы более убедительно, если бы оно сопровождалось комментарием или соответствующей статьей, поясняющей точку зрения Л.В. Дуличенко. Ведь действительно, мы порой мало задумываемся о таком интересном явлении – семантическом и эмоциональном переходе слов.

В целом, хотим еще раз подчеркнуть, что настоящее издание окажет большую помощь изучающим русский язык как неродной, а говорящим на нашем языке будет полезно прежде всего как редкий и гармоничный образец чуткого подхода к анализу отечественной словесности, преподнесению тех ее лучших образцов, которые обогащают нашу речь, делают ее живой, красочной, литературной.

В заключение следует заметить, что данный опыт не является строго академическим, а потому полным и всеобъемлющим. К нему и не следует предъявлять тех требований и искать те просчеты, которые, на первый взгляд, могут показаться здесь специалисту. Книга имеет прежде всего практический замысел и притом ориентируется на правильный языковой вкус, не привнося в речевой обиход ничего вульгарного, бедного в лингвистическом отношении, ничего искусственно созданного. Этот импульс автора “Словаря обидных слов” невольно передается и читателю, находящему в книге немало образцов живой великорусской речи, выдержанной в рамках литературного языка.

О. В. Никитин